



ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ: ФОРПОСТ ВОРОНЦОВА

АЛЕКСАНДР КОЛЮЧИЙ

Зона Отчуждения

Александр (Колючий)

**Зона Отчуждения:
Форпост Воронцова**

«Автор»

2026

(Колючий) А. Л.

Зона Отчуждения: Форпост Воронцова / А. Л. (Колючий) —
«Автор», 2026 — (Зона Отчуждения)

Разведка среднего пояса Зоны приводит Юрия к разрушенным цехам, где скрываются экспериментальные твари секретной лаборатории. Клеймо на их телах — не случайность, а чья-то работа. Но страшнее находка, которую он делает среди обломков: документы с печатью барона Долгопятова и именем Тихона Гнилова. Теперь Юрий — не просто выживший каторжник, а живая угроза для всего Департамента Реакторного Надзора. Чтобы узнать правду о происхождении тварей, ему придётся довериться анонимному союзнику из столицы, пройти через затопленные туннели и принять бой с силами, которые считали его мёртвым. Но главный вопрос: не станет ли он сам тем, кого должен уничтожить?

© (Колючий) А. Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Огни у частокола	5
Глава 2. Слово через частокол	11
Глава 3. Переговоры на нейтральной полосе	17
Глава 4. Слово Хоря	23
Глава 5. Рассвет у границы	29
Глава 6. Пустые карманы Зоны	35
Глава 7. Свет за частоколом	41
Г	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Александр (Колючий)

Зона Отчуждения: Форпост Воронцова

Глава 1. Огни у частокола

Лязг ещё стоял у меня в ушах — два раза, металл о металл. Я слез с бочки, ставя правую ногу второй.

Лом лежал там, где Тимофей его убрал, — у бочек, поперёк кирпича. Я взял его левой у середины, перехватил в правую и загнул пальцы, а безымянный дождал большим. Держало.

Проход стоял у двери. Я толкнул его в плечо, чтобы он повернулся, и показал ломом на дальний угол барака, где койки стоят в распор, а потом на бок частокола, туда, где Игнат не вбил обрезки: под землёй кирпич.

Проход посмотрел, куда я показал, и пошёл. Кол он взял из-за двери и понёс, держа обугленным концом от себя.

Так я ставил бригаду в нижних цехах, когда за турбиной голоса не слышно: показал место, показал инструмент, и человек идёт. Тут турбины не было, но говорить всё равно не хотелось.

Тимофея я поставил к пролому — к тем доскам, что они забили час назад. Он и без меня туда шёл.

— Аглая. С Игнатом за стол. За перевёрнутый, в глубину.

— Он не пойдёт, он поедет, — сказала она.

Она взяла Игната под мышки и потащила его: левую ногу он переставлял, а правую вёз пяткой по земляному полу, и за ними оставалась полоса. Стол лежал у второго ряда коек, столешницей туда же, и за ним было тесно и темно. Она уложила его боком, подтянула голень к свету, отвернула сползшую тряпку.

— Потемнело, — сказала она тихо. — Опять потемнело. Ты бежал.

Он сипнул.

— Бежал, я вижу. Швы держат сверху, а ниже разошлось. — Она перемотала ту же тряпку, чистым к ране, и притянула узел. — Лежи. Что бы там ни было слышно — не двигайся. Начнут кричать — не двигайся. Меня позовут — тоже лежи.

Он опять сипнул и повёл рукой на запад, как утром.

— Я поняла, — сказала она. — Ты второй раз показываешь. Я поняла.

Тимофей у пролома упёрся плечом в доски и надавил вниз, в середине и у самой кладки.

— Верхняя ходит, — сказал он. — Гвоздь гнутый, он в кладку не сел, он в кладке загнулся вбок. Я бы его вчера перебил.

— Держит?

— Держит, пока держу плечом. — Он хлопнул по доске ладонью. — Я, Юрий Аркадьевич, в коях крепь так не принимал. Там если стойка на волос играет, её выбивают и ставят новую. А тут у меня одна доска да полметра проволоки, и проволока вдвое сложена, я её вчера и складывал.

— Про доску я слышал утром.

— Утром я про сороковку говорил. Это другая доска. — Он присел на кирпич, вытянув большую ногу в сторону. — Камень я так и не нашёл.

Аглая вышла из-за стола, подошла к бочке, взяла тряпицу из-под камня — ту, где лежала доля Игната, — переложила её на доску, а камень положила рядом.

— Он не будет есть, — сказала она. — У него губы в трещинах, он ложку не отдавал. Это на потом.

— Не трогать, — сказал Тимофей, не поворачиваясь.

— Я и не трогаю. Я перекладываю.

— В бочке пусто, — сказал он. — Ни крупы, ни сухаря. Два дня так постоим, и на пост ставить будет некого.

Топор был у меня за поясом. Я вынул его, переложил в левую руку и посмотрел на лезвие: с той ночи на нём сидела зазубрина в полногтя — это когда я бил по банке и попал в доску. А точить было нечем.

Кран за стеной капнул.

Я поставил лом к кладке, взял обрезок арматуры — тот, что мы точили о кирпич и свели к концу на клин, — и сунул его Прохору вдоль ноги, острым от себя.

— Кол брось. Этим тычь. Через прутья, не вылезая.

Прохор взял, повернул в руке, попробовал ногтем острие.

— Кол мне удобнее.

— Кол короткий.

Прохор поставил кол к стене, придавил ладонью карман телогрейки и отвернулся к щели.

Всего железа у нас было: лом, топор с зазубриной, пика, два ножа. Пятеро. Из пятерых стоять могли трое, и у одного правая рука не сжималась — не хватало большого пальца.

Тимофей у пролома приложился глазом к щели между досками и замер.

— Огонь, — сказал он. — Один. Дрожит.

— Влево уходит?

Он смотрел долго, не отнимая лица от доски.

— Нет, — сказал он. — Прямо на нас.

Я тронул его за плечо — он отодвинулся, придерживаясь за доску.

Щель между сороковками была узкая, палец не сунешь, но смотреть через неё было можно, и я приложился. Ресницы лезли в щель и мешали, но я поморгал, и глаз привык. Туман лежал ровно, а над ним ходили огни.

Считать я стал вслух, шёпотом, потому что памяти своей больше не верил: один час она у меня уже потеряла.

— Один, — сказал я. — Два. Три.

Третий подходил под второго, сливался с ним в одно пятно, потом опять отходил. Я подождал, пока он выйдет отдельно, и посчитал заново, с первого.

— Один, два, три. Четыре. — Четвёртый шёл низом и держался на отлёте. Он качался ровно, как ведро в руке. — Пять.

Шестого не было, но я не отрывался от щели и всё ждал его: ночью, пока не спал, их у меня было восемь и они стояли цепью от гряды до самого пролома. Теперь же никакой цепи — только пять огней, и между ними тёмное поле.

— Пять, — сказал я.

— Восемь он сказал же.

— Он сказал: считал по огням, огни ходили, вышло по-разному.

— Восемь скорей, он сказал. — Тимофей приложился ниже, у самой земли, где доска не села. — Я его слова помню.

— Факелы у них четыре, может, пять, и фонарь один. Это тоже его слова.

Тимофей помолчал.

— Ну да, — сказал он. — Фонарь на отлёте. Тогда четыре факела да керосинка, и это те же пять.

Огни шли, и я смотрел дальше, не мигая. Когда факел заносило вбок, за ним на секунду проступал тот, кто его несёт: плечо, спина, край чего-то за плечами. Я сосчитал и там: у первого огня один, у второго двое рядом, дальше не разобрал. Один шёл сзади всех, рывками: два шага, остановка, потом ещё два. Огня у него я не видел, он был в тумане по грудь, и его подсвечивало сбоку. Он то ли хромал, то ли тащил за собой что-то тяжёлое.

Я отнял лицо от доски и вытер глаз тылом ладони.

— Пятеро, — сказал я. — Один хромает или волочит.

За спиной, у стены, Аглая говорила Игнату:

— Не языком. Языком не доставай, разойдётся. Я тебе на губы намочу, и лежи.

— Пятеро, — сказал Тимофей.

Он стоял ко мне плечом, и я слышал, как он дышит через нос, коротко, и как переступает на левой, потому что правая у него не сгибается и он её ставит и держит.

— Юрий Аркадьевич. — Он сказал это в доску, не поворачиваясь, и совсем тихо. — Пятеро — это не армия.

— Дробовик у них всё равно не переставал быть дробовиком.

— Дробовик надо в руках держать. А они вторую ночь не спали, ты слышал: крыша им нужна к ночи. Они на ходу спят. — Он тронул доску пальцем в одном месте, потом в том же месте ещё раз. — Про барак они не знают. Они на корпус шли, они про воду в подвале говорили. Значит, они мимо идут и не смотрят.

— Прямо на нас идут.

— Прямо на нас идут, потому что тут дорога такая, тут между отвалом и канавой не разойтись, я там воду носил. — Он кивнул назад, за плечо, на Прохора. — У него пика. Ты сам её точил о кирпич. Выйти сейчас, взять двоих, которые сзади, — вот того, что волочит, и того, кто с ним, — и они не поймут, откуда. Пока они разберутся, нас тут нет.

— Ножом.

— Ножом. Их у нас два.

Во мне поднялось упрямство, которого я не звал. Так у нас в доме говорили про отца. Он в Собрании три дня торговался за один пункт и не подписал, и его за это называли упрямцем, а земли всё равно ушли. Мать рассказывала это как похвалу.

Резать спящих в темноте. Я подержал это в голове, но не смог приложить ни к одному человеку, который потом вернётся в Воронцовку и назовёт себя. Хотя приложить-то, наверное, можно было. Не знаю.

— Нет, — сказал я.

— Что нет.

— Ждём.

Тимофей отнял лицо от доски и посмотрел на меня. В сумерках в бороде у него белели седые пятна, одно на самом подбородке.

— Ждём чего.

— Если они про барак не знают, время у нас есть. — Я взял лом левой у середины, перевалил его в правую и дождал пальцы большим. — А если мы выйдем и не возьмём — их четверо на трёх, и нам отсюда некуда деваться.

— Мы не возьмём, потому что я ногу волочу?

— Потому что нас трое.

Он подобрал с земли свою проволоку и стал перекладывать её из руки в руку.

— В копиях, — сказал он, — когда газ шёл, ждали до последнего, а потом выходили не все. — Он сунул проволоку за пазуху. — Я скажу Прохору, чтоб не вылезал. Ты ему велел не вылезать. А он щель ногой пробует.

Он пошёл вдоль частокола, ставя правую ногу на грязи боком.

Кран за стеной капнул, и я стал считать, а на третьей капле опять приложился к щели.

Огней было пять. Четыре стояли кучей, у самого низа, где отвал заслоняет, а пятый — тот, что всё время шёл на отлёте, керосиновый, — двинулся от них и пошёл вдоль.

Не вдоль — к нам.

Я слез с бочки — с неё меня видно поверх концов — и перешёл к боковой щели, где кладка выкрошилась и между прутьями остаётся палец с лишним. Прохор уже был там. Сидел

он на корточках, а пику держал стоймя, обугленным концом вверх, обеими руками у самого острия. Так держат, чтобы не выронить, а ударить так нельзя.

— Я не вылезал, — сказал он.

— Знаю.

— Тимофей Игнатьевич сказал не вылезать. Я и не вылезаю, я внутри стою.

Фонарь качался в такт шагам, и по этому качанию я считал: шаг, шаг, потом длинный провал, будто он ставит ногу и не знает, где будет земля. Он шёл шагах в семидесяти и брал прямо на цистерну, не на пролом.

— Один, — сказал Прохор.

— Один.

— Юрий Аркадьевич. — Он говорил в жердь, губами почти в дерево, и от этого выходило шипением. — Он до бетонного не дойдёт, он у крана встанет. Тут от щели до крана шагов девять. Я мерил, я тут грязь выгребал.

Я и сам знал, что девять. Кран капал за спиной с той же паузой, что и третью неделю.

Человек вышел из тумана, который стоял ему до колена. Роста среднего, а шёл не стигаясь, будто ему в спину подложили доску. На третьем шаге он поехал на щебне и сел на руку, а фонарь у него ушёл вбок и стукнул о камень стеклом. Он встал не сразу: подобрал фонарь, обтёр стекло рукавом, поднялся с колена со второго раза.

Так вставал я все эти дни.

— Он их не видит, — сказал Прохор. — Они там за отвалом, и он к ним спиной. Я его тихо сниму. Он сюда сам идёт, ему ж воды надо, он к крану встанет и нагнётся.

Пику он перехватил ниже, к середине, и развёл руки, как на кувалде.

— Я в бок, под руку, — сказал он. — Он и не крикнет. Он вон как дышит.

Он повёл древко вверх, коротко, от земли.

Руку его я взял у самого древка левой — левая у меня сжимается. Правую положил сверху и придавил весом: пальцы легли и лежали.

Он потянул один раз, вполсилы, пробуя, заперто или нет.

Я держал и смотрел ему в лицо, но в темноте оно было только пятном. Потом я сложил губами, без голоса:

— Нет.

Он смотрел, и кадык у него сходил вниз и вверх.

— Почему, — сказал он одним ртом, и получилось у него плохо: шёпот всё-таки прошёл.

Я показал ему пальцами: два. Ткнул за плечо, туда, где кучей стояли четыре огня. Сжал кулак и разжал — раз, второй.

У двоих дробовики, а один — с карабином. Игнат сказал ясно, и он два раза считал.

Прохор посмотрел за плечо, на четыре огня, и опустил древко. Опустил не до конца, а до бедра, и там оставил.

— Тогда он воду возьмёт, — сказал он. — Наберёт и обратно пойдёт, и скажет, что тут вода есть. И они все придут.

— Придут.

— Ну и вот.

Он сел на корточки обратно и опять полез рукой к тому карману, как днём. Что там у него, я так и не спросил и уже второй раз забыл спросить.

Человек дошёл до бетонного ограждения, поставил фонарь на него и полез через: занёс одну ногу, сел на бетон верхом, перекинул вторую. Слышно было, как у него в горле что-то заскрежетало.

И тут у меня в груди прошло — узко, без жара и без холода, только отклик, и в отклике смех, а смеха не было.

«Не та пища».

Я не спросил ни «чем», ни «кто». Я стоял и слушал, и оно доложило до конца, ровно: «Слишком много железа при них. Слишком мало того, что нужно».

И закрылось.

Под полосой от её рубахи я посчитал пульс: на третьем — ничего, на пятом — тоже ничего.

Значит, отсюда мне не подадут, и значит, у меня только руки, лом, Прохор с пикой и Тимофей, который ногу волочит.

За стеной барака Аглая сказала Игнату: «Не тяни ногу, лежи прямо», — и он что-то просипел ей в ответ.

Человек нашёл кран в темноте на слух и подставил под него ладони.

Пил он долго, наклонив голову, и, судя по звуку, больше проливал, чем брал. Потом обтёр рот тылом руки, поднял фонарь с бетона и пошёл вдоль ограждения — не к нам, вбок, туда, где стоит цистерна.

И через два шага у него под сапогом хрустнуло железо.

Проволока там осталась с той ночи — полметра, от старой растяжки, которую вывернуло вместе с обрезками. Тимофей её распрямлял, да так и не распрямил до конца, и один конец так и держался за столб. Она пропела коротко, в одну ноту, и стихла.

У нас никто не дышал.

Я стоял в щели, боком, лом на плече, и рука моя пошла сама — назад и вниз, к доскам пролома, туда, где Тимофей забивал верхнюю в кладку. Я нащупал ладонью торец и повёл по нему, как по хомуту на объекте: сидит ли, не играет ли. Дерево было шершавое и мокрое, и щепка зашла под ноготь. Секунды через две я понял, что делаю, и убрал руку. Проверять тут было нечего. Если он подойдёт, доска не решит ничего.

Тимофей стоял в бараке, упершись в эти доски плечом, и трогал гвозди по одному — я слышал, как палец идёт по шляпке. Он и это делал беззвучно.

Аглая была у Игната. Она положила ему ладонь на рот — всей ладонью, поперёк, придавив, — и голову не повернула, смотрела в щель мимо меня. Игнат под её рукой сжал зубы и повёл лицом набок. Нога у него была вытянута, и он её не двинул. Только в горле у него сипнуло, и Аглая нажала сильнее.

Человек не шёл. Он стоял у проволоки и слушал.

Фонарь он держал на отлёте и сам при этом покачивался. Ветер тянул с гряды, а качало его само, как качает человека, который третьи сутки на ногах. Голову он поворачивал не туда, куда смотрел, а потом сделал полшага в нашу сторону, к щели.

Прохор поднял пику.

Я это увидел не сразу, потому что в ту секунду думал про другое, и стыдно мне за это до сих пор: я думал, что всё обойдётся и она увидит — я не тот, кто первым бьёт железом в спину. Отец так стоял на собраниях перед голосованием — не спорил, ждал, пока сами дойдут. Я стоял и держал в себе его голос — лишний удар сердца.

За этот удар древко ушло вперёд.

Я перехватил его левой у самого наконечника, без замаха, и придавил вниз. Прохор упёрся — он держал пику обеими руками, костяшки белели, — и я почувствовал, что если он дождёт, то я его не удержу.

Он не дождал.

— Федот! — сказали от костров. — Назад, я сказал!

Кричали шагов с двухсот, а слышно было каждое слово. Голос был хриплый и низкий, и говорил он ровно, без крика.

Человек у ограды дёрнулся всем телом, будто его взяли за шиворот. Развернулся на голос, качнулся, поймал равновесие через шаг и пошёл обратно на огни. Фонарь по дороге несколько раз задел за бетон. Цистерну он так и не тронул.

Прохор опустил древко до бедра и там оставил, как раньше.

— Федот, — сказал он ртом, без голоса.

Я кивнул.

У огня пошёл разговор — между своими, а потому громко. Голос сказал, чтобы огонь давали ниже и не тянули верхом, потому что дым виден. Кто-то ответил, что сырое, а сухого нет. Голос сказал: значит, будет ниже. Про караул он велел так: двое до середины ночи, дальше смена, и чтоб не сажали к огню лицом. Кто-то спросил про мешок. Слышно было, как по мешку шаркнуло, и второй голос сказал: «Отойди, я сам считаю». Про мешок хозяин костра так ничего и не ответил.

— До утра никуда не идём, — сказал он. — Утром гляну сам.

Сивоок. Игнат назвал это имя днём, лёжа на щебне, и сказал, что слышал ясно и что тот два раза его сказал. Теперь я слышал его сам. Он стоял в двух сотнях шагов от нашего пролома, у чужого огня, и распоряжался, кому не сидеть лицом к пламени.

Аглая сняла ладонь с Игната. Он выдохнул через зубы — длинно, с облегчением.

За стеной капнул кран: набивка вышла третьи сутки, и Тимофей её так и не глянул. Я дождался второй капли.

Прохор сел на корточки и опустил пику себе на колени, а я приложился к щели. Огни у частокола стояли ровно: четыре над туманом и пятое низом, у самой земли, — там, где им велели держать огонь ниже. Небо над грядой серело, и отвал уже отделялся от поля.

Часа через два туман сойдёт, и между их костром и нашим проломом останется двести шагов голой земли. И прятаться нам будет уже нечем.

Глава 2. Слово через частокол

Над третьим пролётом посветлело раньше, чем я ждал. Я думал — два часа, а вышло меньше: серое пошло по щебню разом, туман не поднялся, и в стороны его не потянуло, он просто вылинял, и стало видно всё поле до отвала.

Я приложился к боковой щели.

Костёр у них уже не был пятном в тумане. Он прогорел до углей, низко, как им и велели, и вокруг углей сидели люди — я пересчитал их по головам, потом по спинам: пять. Четверо сидели у самых углей, а пятый лежал в стороне, на тряпье, и тряпья под ним было много, будто натаскали со всего лагеря. Ноги у него были укрыты чем-то тёмным, и один из сидевших повернулся к нему и подтянул это тёмное выше, к поясу.

— Пять, — сказал я.

— Ты вчера пять сказал, — отозвался Тимофей из барака. Он был у пролома, плечом в доски, и не отходил от них с ночи. — И я пять сказал. А Игнат восемь.

— Он по огням считал.

— Я не спорю. Я говорю: и вчера пять, и сегодня пять. — Он надавил плечом. — Верхняя всё ходит. Я этот гвоздь перебью, как рассветёт совсем. Мне бы камень.

Аглая вышла из-за стола и села у стены — на пятки, привалившись плечом к кирпичу, и закрыла глаза.

Я отвернулся к щели.

Когда я посмотрел на неё второй раз, она уже стояла — поднялась глянуть на Игната — и стояла над ним с закрытыми глазами. Голова у неё пошла вниз, но она вскинулась и оглянулась, кто видел. Я смотрел ей на руки, и она это заметила.

— Я не спала, — сказала она.

— Знаю.

— Я считала ему дыхание. Двадцать два.

Фляга была у меня на поясе, притянута проволочкой за пробку. Воды в ней было на два глотка — на всех на два, я утром сам её взвесил в руке. Она булькала у самого дна. Я отмотал проволочку, снял пробку и подал ей.

— Пейте.

— Это на пятерых.

— Это моё.

Она взяла флягу двумя руками. Пила мелко, два раза, а по горлу прошло только раз. Вернула и вытерла губы тылом кисти, там, где ноготь обломан до мяса.

— Я вам это запишу, — сказала она. — Было бы куда.

Флягу я убрал и притянул проволочку обратно, левой рукой, придерживая правой сверху. Легла она криво. Топор надо было свести о кирпич — зазубрина сидела на самом лезвии, — я взял его, приложил к кирпичу, но положил обратно за пояс. Не то утро.

Прохор сидел у щели на корточках, пику держал у бедра, острым от себя, как я велел. Он смотрел долго и всё сглатывал.

— Юрий Аркадьевич.

— Говори.

— Тот, что на тряпках. Он не двигался ни разу. — Прохор не отнял лица от прутьев. — Я на него ещё в темноте смотрел и как посветлело. Ждал, что он ногу переставит или руку. Ничего. Либо спит мертвецким сном, либо совсем плох.

— Дальше.

— Двое у углей с ружьями. На коленях держат, поперёк. Один сейчас ел — из банки, ложкой, — и ружья с колен не снял. Ложка в одной руке, другая на стволе.

— А остальные два?

— Один ходил за отвал и вернулся, штаны на ходу подвязывал. Второй сидит спиной к огню. Ему так велели.

Проход подождал и сказал ещё:

— Их пять, а стоять у них могут трое. Как у нас.

Я промолчал, и за стеной капнул кран.

Из-за стола просипел Игнат — коротко, на одной ноте, — и Аглая пошла к нему, ставя ноги широко, как по палубе. Он повёл рукой к щели и просипел опять, и Аглая наклонилась к нему ухом.

— Он хочет смотреть, — сказала она. — Я его не понесу. У меня руки трясутся, я его уроню.

Тащили мы его вдвоём с Прохором: он под мышки, я за здоровую ногу под колено, а правую Игнат вёз сам, приподняв бедром, и на каждом рывке у него в горле щёлкало. Мы посадили его боком к прутьям, и он подтянулся сам, на левой ноге, упершись пяткой, и лёг щекой на жердь.

Смотрел он долго. Проход два раза вставал и садился, Тимофей от пролома спросил, не пошли ли, и я ответил, что нет, а Игнат всё лежал щекой на жерди и не мигал.

От костров донеслось — тот же голос, ровный, и опять кто-то ответил про мешок, и голос сказал: «Считай при мне». Потом кашель, долгий, с надрывом, — это был тот, кого звали Федотом, он и ночью так кашлял у крана.

Игнат отнял лицо от жерди, и на щеке у него остался красный след от коры.

— Ещё, — сказал он. Вышло сипом, но словом.

Аглая намочила ему губы пальцем из ковша.

— Я его слышал, — сказал он. — На кордоне.

— Кого?

— Который командует. — Он глотнул и переждал. — Не имя. Имя я не знал. Как говорит. У них там десятник был, он смену разводил у переезда, и он вот так же: скажет два слова и не повторяет. Тише меня говорил. У него один на посту закурил, так он ему два слова сказал, и тот пошёл. Я под платформой лежал, а он в трёх шагах ставил людей.

— Ты его видел?

— Ногу его видел. Сапог. — Игнат облизнул губу и не достал до нижней. — Он потом ушёл, а говорили — в глубину, и к своим уже не вернулся. Что с мешочниками ходит.

Тимофей подошёл, волоча ногу, и встал над нами.

— Ты уверен?

— Нет.

— Так что ты тогда говоришь?

— Я говорю, что похоже. — Игнат закрыл глаза и полежал молча. — Тимофей Игнатьевич, полгода прошло. Больше. Я его голос слышал через доски, снизу, и я тогда не дышал. У меня в ушах своё стучало.

— А тот, что двоих выпустил ночью, — сказал я. — Это он?

— Того я не видел. Мне про того в деревне сказывали, и имени не назвали. — Он открыл глаза. — Я не знаю, Юрий Аркадьевич. Я не буду говорить, что знаю.

— Ну и всё, — сказал Тимофей.

— Не всё. — Игнат приподнялся на локте, и локоть у него поехал по хвое. — Если это он, то он служивый. Он людей терял и знает, сколько это стоит. Такой в дыру не полезет. Он посчитает, сколько у него людей останется, и сядет ждать.

— А с чего ты взял, что посчитает?

— С того, что он караул поставил в две смены. И к огню лицом не велел садиться. Разбойник так не делает, разбойнику лень.

Тимофей молчал и перекладывал кусок проволоки из руки в руку, сгибая и разгибая конец.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Служивый. У служивого карабин. И у двоих дробовики, и они с колен их не снимают, Прохор вон смотрел. Мне какая разница, кто держит ствол — служивый или мешочник? Наводит он его одинаково. Он тебя через эту щель снимет, пока ты ему будешь говорить, что ты тоже человек. Ему до щели двести шагов, и он их не пройдёт, ему и не надо.

— Я не сказал, что надо выходить.

— Ты сказал, что он посчитает. Это то же самое, только длиннее.

За стеной капнул кран. Тимофей повернул голову на звук, потом опять на меня.

— Я вот что скажу. Корпус. Северный торец, дыра в кладке, оттуда до подсобки два поворота. Стены в шестьдесят, две глухие, дверь железная. Уходим низом, пока туман, и они утром найдут пустой барак. Пусть берут. Крыша им нужна — вот крыша.

— С Игнатом на руках, — сказала Аглая, не поднимая головы. — Через щебень. У него швы ниже колена разошлись, я их вчера смотрела при огарке.

— Понесём.

— Ты понесёшь? У тебя нога не сгибается.

— Я сказал — понесём. — Он переступил на левой. — Аглая Никитична, я в копиях носил и не таких.

— Там вода, — сказал Прохор от щели.

Все посмотрели на него.

— Тут вода, — сказал он. — Кран. А там бак пустой, вы сами говорили, и вентиль. — Он потрогал ногтем острие пики. — Я так, к слову.

Игнат лёг обратно щекой на жердь и стал смотреть дальше в щель.

А я считал — и считал плохо, потому что считал не то. Выходило так: щебень до северного торца — это часа полтора нашим ходом, с Игнатом на доске — три. Туман сойдёт за два. А дальше в голове застревало на бараке, потому что в бараке была койка с сеткой, доски, латка, которую мы чинили дважды, банка на полке, растяжка, кран, набивка, которую Тимофей трети сутки не глядел. И всё это ушло бы к ним без единого выстрела. Они бы утром вошли и сели у нашего крана.

Подумал — и сам себе не поверил: за кран я, что ли, держусь? Хотя кран у нас один, и другого на этом щебне нет.

Потом додумал до конца: а поползём низом — они утром пойдут по следу, а след на щебне после дождя держится, Игнат сам его читал вдоль канавы.

— Аглая Никитична, — сказал я. — Рубаха твоя.

Она не подняла головы, только держала Игнату голень и мочила ему губы уголком тряпки.

— Рубахи нет. Есть один рукав, я его на вас извела утром, второй у меня на теле. Что вы хотите?

— Кусок. С ладонь. Белый.

— Белого у меня давно ничего нет. Только серое.

— Пусть серое. Светлое.

Она положила тряпку на колено и посмотрела на меня — молча, будто ждала, что я договорю сам. Я не договорил.

— Это на перевязку я берегу, — сказала она. — У меня четыре тряпки. Вы сегодня одну из них уже носите.

— Одну с ладонь.

— С ладонь — это полповязки на его голень. — Она всё-таки полезла под халат, и опять пошёл этот сухой звук в два приёма. Оторвала поперёк, у самого шва, и подала мне, не глядя. — Возьмите. Только скажите зачем.

— Выйду.

Тимофей поднял голову от досок.

— Куда выйдешь?

— К ним. Один. Пока не рассвело совсем.

От пролома он пошёл ко мне, ставя правую боком, и взял меня за локоть у самой щели — левой, потому что топор у него был в правой. Взял крепко, и рука у него была горячая.

— Стой.

— Пусти.

— Стой, я сказал. — Он так и не отпустил. — Без прикрытия не пушу. Пусть Прохор с пикой встанет в щели, и я тут, у доски. Дай хоть до света. Ты в тумане пойдёшь, они на движение бьют, ты сам про кордон рассказывал.

— Кордон бьёт по всякой тени. Эти нет.

— Ты не знаешь.

— Не знаю. — Я взял лоскут левой и переложил в правую, а правая его не удержала, и он лёг на грязь. Я поднял. — Слушай. Не выйдет никто — они утром сами придут и пойдут на щель, и это штурм. Или выйдешь ты.

— И выйду.

— И тебя снимут на первом же слове.

— Это почему?

— Потому что ты сейчас пойдёшь с топором в левой и скажешь им про гвоздь и про камень.

Он подержал ещё немного, потом разжал пальцы. На локте остались четыре тёплых пятна.

— Прикрытия у меня всё равно нет, — сказал он. — Пика да топор.

— Знаю.

— В копиях, — сказал он и не договорил. Повернулся и пошёл к пролому, и я слышал, как он там надавил плечом в доску — в третий раз за ночь, в том же месте.

Прохор отодвинулся от боковой щели, не вставая с корточек, и придержал прут, чтобы тот не мотнулся.

— Тут узко, — сказал он. — Тут я ногой пробовал, там кирпич под землёй.

— Знаю.

Полез я боком. Левое плечо прошло, правое зацепило, и, подав грудь вперёд, я продавился. Правую ногу переставил второй и босой ступнёй встал в мокрую щебёнку. Щебёнка была ледяная, и в правом бедре под тряпицей потянуло вверх.

До костров было шагов двести по голому полю. Туман лежал по колено, четыре огня стояли кучей, а пятый — ниже и левее.

Правую руку с лоскутом я поднял над головой.

Пальцы разошлись сами, я их не разжимал, и лоскут упал у ноги. Я присел на левое колено, поднял его левой, вложил в правую и дожал безымянный большим, но на середине замаха лоскут вышел опять и упал на тот же щебень.

За частоколом Прохор сказал что-то, я не разобрал.

Тогда я перехватил лоскут в левую, намотал угол на два пальца и придавил большим. Левая держала крепко.

— Эй! — крикнул я в поле, и голос сорвался на сипе, и я набрал воздуха и крикнул ещё раз, ниже. — У костров! Я один и без ружья! Я говорить пришёл! Драться нам нечем!

В поле не ответили. Стало совсем тихо, только щебень шевелился у кого-то под ногами. От кучи огней встали двое. Один вскинул длинное ружьё, второй короткое, и это короткое повело в мою сторону, снизу вверх.

— Не стрелять! — сказал хриплый. Он сказал это не громче, чем ночью про караул, и оба ствола пошли вниз и повисли на полупути.

Третий поднялся сам. Дробовик он держал у бедра — не наводя и не убирая, — и пошёл от огня ко мне, шагов на двадцать, не дальше. Ремень с плеча у него съехал, и он поправил его свободной рукой, не глядя.

— Кто там орёт? — сказал он.

— Я говорю от барака! Мы тут стояли до вас!

— От какого ещё барака?

— От того, что за цистерной!

Сивоок постоял молча.

— Не знал я про барак, — сказал он. — Мы на корпус шли. Нам вода и крыша раненому, и больше нам от вас ничего. Кто у вас главный?

— Я.

— Тогда говори: сколько вас?

— Довольно, чтобы держать эту щель, — сказал я.

— Это не число.

— Больше вам знать незачем.

От костров кто-то сказал в голос:

— Данила Гаврилыч, вода там есть, я сам пил, из крана, я говорил же...

— Федот. Сядь.

— Я сел уже.

Сивоок не обернулся.

— Хорошо, — сказал он мне. — Не число. А чего ты хочешь-то, с тряпкой?

И тут меня повело. Я стоял с поднятой левой, а во мне уже сложилось само, готовое: имею предложить сойтись для беседы на равном удалении от обеих стоянок, в дневное время, без оружия при себе, поскольку ни одна из сторон в столкновении не заинтересована.

— Предлагаю, ввиду обоюдной... — начал я и услышал себя.

Оно прозвучало, как в зале заседаний. Отец так говорил три дня за один пункт, стоя, и его слушали, но всё равно проголосовали не так. А здесь между мной и ним лежало двести шагов мокрого щебня, туман по колено и два ружья, и я тратил на «имею предложить» время, которого у меня не было.

— Чего? — сказал Сивоок. — Громче.

— В полдень! — крикнул я. — Посередине! Между вашим огнём и нашим частоколом! Без ружей — ни у вас, ни у нас! Один на один, говорить!

— Вот это слышу, — сказал он.

Один из тех, что стояли со стволами, коротко сказал ему что-то в спину. Сивоок ответил в сторону, головы не повернув:

— Знаю.

Потом он долго молчал, глядя на меня, а я стоял с лоскутом и знал, что во мне видно: один человек, босая правая нога, рука на весу, и рядом никого. Я держал левую поднятой и считал у себя пульс под полосой от её рубахи, просто чтобы стоять и не переступить с ноги на ногу.

— В полдень, — сказал он наконец. — Посередине.

Он бросил через плечо, назад, к костру:

— Опустите. Оба. Я сказал — оба.

Ружья ушли вниз, и только второй подержал своё ещё немного, а потом уронил ствол к сапогу.

Сивоок поправил ремень тем же движением и пошёл к огню, а уже с полуоборота добавил:

— Слушай сюда. Если это ловушка, мы вернёмся не разговаривать.

— Я понял.

— Ты, может, и понял. — И он пошёл.

С места я не сошёл и стоял, пока он не сел у огня. Ветер тянул от них, и оттуда шло вразнобой: кто-то ворочал железом, Федот опять начал про кран, и его никто не слушал. А потом хриплый сказал вполголоса, и до меня дошло не всё:

—...Ерофей. Если в полдень ни воды не дадут, ни угла раненому, я к утру снимаюсь и веду назад, к кордону. Я за эти развалины больше ни одного не...

Дальше он говорил в сторону огня, и я не разобрал.

Обратно я шёл, ставя правую ногу второй, и лоскут так и не размотал с пальцев. У боковой щели Игнат сидел прямо на земле, привалившись к прутьям, и шурился в поле — шурился одним, левым, и держал его так долго, что по скуле потекло.

— Пятеро, — сказал он сипом. — Я всё равно на восемь считал.

— Пятеро.

Аглая стояла у пролома. Голова у неё пошла вниз, но она тут же вздёргнула её и встала прямее, будто её застали.

— Я не спала, — сказала она.

Тимофей у самых досок коротко взял меня за локоть и сразу отпустил.

— Полдень, — сказал он. — Ну ладно.

Он отошёл к столу, повозился в тряпках и вернулся с ножом — с тем, у которого кромка сведена лучше всех. Обмотал лезвие тряпицей, прихватил угол зубами, чтобы затянуть узел одной рукой, и подал мне рукоятью вперёд.

— В сапог сунь.

— Я босой.

— Тогда сзади, под пояс.

— Я без оружия иду. Так и сказано.

— Слово через частокол, — сказал он и руки не убрал. — Ну-ну. Тряпку с него снять — два счёта. Бери.

Я взял и сунул под пояс сзади, чтобы рукоять легла вдоль хребта. Солнце уже стояло выше марева, и до полудня оставалось меньше, чем любому из нас надо на сон. Мы оба смотрели в поле, на середину, где к полудню и станет ясно — воевать или делить щебень.

Глава 3. Переговоры на нейтральной полосе

Тень от частокола лежала у самых кольев, короткая, в ладонь, — значит, полдень или около того.

Нож я вынул из-за пояса, со спины, и вышел он только с третьего рывка, потому что тряпица на лезвии зацепилась за ремень. Я положил его на перевёрнутый стол, на самую середину, чтобы видно было и от пролома, и от щели в досках. Топор тоже снял с ремня и положил рядом, зазубриной вверх.

— Смотрите все, — сказал я. — Ничего не беру.

— Я смотрю, — сказал Тимофей от досок. — Я и вчера смотрел, как ты его брал.

— Вчера — вчера.

Тимофей подошёл, взял нож со стола, повертел, размотал тряпицу, посмотрел на кромку и намотал обратно, тем же концом внутрь.

— Он тебя всё равно обшарит.

— Не станет. Я сам вышел пустой, при всех.

— Ну да. — Он положил нож обратно, только к краю, ближе к пролому. — Камня я так и не нашёл. Тут одна щебёнка мелкая. Я гвоздь обухом бил — он в кладке вбок ушёл.

Аглая сидела у стены. Вставать ей было не с чего, и всё-таки она встала. Держалась за кирпич, пока разгибалась, и постояла, глядя мимо меня, пока не перестало плыть.

— Рукав, — сказала она. — Заверните.

Правую руку я ей подал. Рукав был оторван по локоть, и полоса от её рубахи лежала на четырёх старых рубцах и на борозде, а борозда в середине мокла и выходила наружу на два пальца, ниже повязки.

— Открыто, — сказала она. — Он это первым увидит.

— Пусть видит.

— Не пусть. — Она размотала старую полосу, свернула её, сунула за пазуху и достала серую тряпку, которую сложила вчетверо. — Тряпок было четыре, а стало три. Эту я на ночь Игнату берегла.

— Аглая Никитична.

— Я не спорю. Я говорю, сколько их. — Она мотала быстро, в три оборота, и узел вывела на внешнюю сторону, чтобы не приходился под ладонь. — Руки у меня трясутся, вы уж не смотрите.

— Я на руки и смотрю.

— Тогда смотрите. — Она подтянула узел зубами. — Так они увидят серое чистое. Мясо им смотреть незачем. Пальцами не двигайте, пока идёте. Дожмёте — разойдётся, а мотать больше нечем.

Проход сидел у боковой щели с пикой у бедра.

— Юрий Аркадьевич. До середины сто шагов?

— Около.

— Я вчера ночью считал, у меня выходило девяносто до канавы и ещё сколько-то. — Он подёрнул пикой к себе. — Я к тому, что если бежать оттуда, то бежать вам сто шагов, а он сзади с дробовиком.

— Знаю.

Тимофей стал у прутьев и взял меня за левый локоть.

— Знак, — сказал он. — Дошёл, встал, говоришь — подними левую. Значит, стоим. Правую поднял — мы за тобой не идём, мы валимся к пролому и держим щель, а ты беги.

— Правую я выше пояса не поднимаю.

Он посмотрел на мою правую руку, на серое чистое, и промолчал.

— Тогда так: левая вверх — хорошо. Правая как получится — бежим. Хоть локтем поведи, хоть в сторону.

— Локтем — это и есть жест, — сказал я. — Он на любое движение может двинуться.

— Он на любое двинется, если ты будешь молчать. — Тимофей отпустил локоть. — Прохор в щели, я у доски. Больше у меня ничего нет.

Игнат поднялся у прутьев сам — на левой ноге, упираясь пяткой, и правую подтащил следом.

— Я с тобой.

— Лежи.

— Я его слышал. Ты его два слова слышал, а я — как он смену разводил. — Он говорил сипло, коротко, и переждал, пока отпустит. — Я по двум словам скажу, он или не он.

— У тебя швы ниже колена разошлись.

— Разошлись. Я не бежать иду, я стоять иду.

Я считал, пока он молчал. Сто шагов туда он пройдёт, а если оттуда бежать, он не побегит, и его придётся или бросить, или тащить, и тогда нас снимут обоих. Это я посчитал быстро.

Другое считалось хуже. Условия он скажет один раз, повторять не станет. А память у меня с месяца дырявая: час целиком выпал, и где он — не знаю до сих пор.

— Пойдёшь, — сказал я. — Стоишь за моим левым плечом и молчишь. Слушаешь и запоминаешь слово в слово. Пересказывать будешь ты.

— Понял.

— Нож отдай.

Он вынул из-за пояса нож Тимофея — тот, что обещал вернуть, — и положил на стол рядом с тем, первым. Легли они накрест, рукоятками в разные стороны.

За стеной капнул кран.

Полез я боком и правым плечом опять зацепил доску, Игнат за мной, и уже в щели он повернулся к Прохору.

— Место моё не занимай, — сказал он. — Я вернусь и лягу.

Сто шагов я считал шёпотом, иначе сбивался. На сорок втором Игнат стал отставать, и я остановился и подождал, не оборачиваясь.

Посередине лежали обломки плит — три штуки, одна на другой, с торчащей арматурой, гнутой в одну сторону. Мы стояли у них с нашей стороны, а они подошли со своей. Сивоок был в шинели без петлиц, подпоясан верёвкой, и ружья при нём не было. Второй шёл сзади, ниже его на голову, борода у него слиплась в две пряди, и он всё щёлкал костяшками пальцев, перебирая одну руку за другой.

— Один на один сказано, — сказал Сивоок.

— У меня раненый. Он свидетель, — сказал я. — У тебя тоже второй.

— У меня тоже свидетель. — Он посмотрел на мою правую руку, потом на босую ступню и со ступни глаз не сразу убрал. — Ладно. Слушай, чего мне надо, и не тани: вода из цистерны и угол раненому дня на три. Больше ничего. Развалины ваши мне не нужны.

— Развалины нам самим нужны.

— Я и говорю. — Он присел на плиту, вытянув ногу. — У меня пятеро. Один лежит и не встанет, второй его тащит. Штурмовать твой частокोल я не пойду, я не дурак, я на него сегодня утром с отвала смотрел. У тебя там доски забиты в кладку, у тебя щель одна.

— Две.

— Две так две. — Он повёл рукой. — Мне бы и одной хватило, если бы я людей не считал. Я их считаю.

Тот, что с бородой, щёлкнул костяшками.

— Данила Гаврилыч, ты про воду скажи. Доски потом, — сказал он. — Мы тут стоим, а Федот там лежит.

— Сказал уже.

— Ты сказал, а они не ответили.

Я считал дальше. Всю воду не отдадим, кран у нас один. Да и прогнать их нечем — двое на ногах, и один из этих двоих на швах.

— Вода общая, — сказал я. — По очереди. Середина между нами — полоса нейтральная, на неё ни ваши, ни наши без слова не заходят. У цистерны не сходятся: если там ваш — наш не идёт, если наш — ваш ждёт. Один человек, не двое. С ведром или флягой, без топора.

— С ведром.

— А ведра у вас есть?

— Котёл есть, — сказал бородатый. — Дырявый с одного края, но воду держит, если не по край.

— Ерофей, — сказал Сивоок.

— А что? Пусть знают, с чем мы придём, а то потом скажут — крадёмся.

Сивоок помолчал и кивнул мне продолжать. Я продолжил медленно: придумал я это ночью, и ночью выходило складнее.

— Дальше — щебень. Отсюда до корпуса и первые завалы — всё наше. Мы там третью неделю ходим, мы там банки брали, я оттуда доску нёс. За западную грядку — ваши. Туда мы не пойдём, и вы к корпусу не пойдёте.

— Стой. — Ерофей щёлкнул костяшками и шагнул к плите. — Ты что, нам грядку съешь? Грядку — это в глубину. Там через распадок марево стоит, я его видел. И вода дальше не капает.

— Там не хожено, — сказал я. — Значит, и не выбрано.

— А потому и не ходят, что там некому. Кто ходил, тот и остался. — Он повернулся к Сивооку. — Данила Гаврилыч, у первых завалов капли берут, за них на кордоне хлеб дают, а у него они. Он их себе взял, а нам грядку.

— Капли я в первых завалах не находил, — сказал я. Это было верно: то, что у меня лежало за пазухой, я нашёл не там.

— Ты и не искал.

— Не искал.

Игнат за моим левым плечом сипнул — коротко, будто подавился, но я не обернулся.

На Ерофея Сивоок только посмотрел, и тот отступил на шаг, стал глядеть в сторону отвала и костяшками больше не щёлкал.

— Грядку, — сказал Сивоок. — Ладно. Грядку так грядку. — Он поднялся с плиты в два приёма, упёршись ладонью в колено. — Я тебе прямо скажу, чтобы ты потом не думал, что перехитрил. Я бы у тебя и завалы взял, и барак взял, если бы у меня было чем. Нечем. Я двоих не хочу оставить на этом щебне, чтобы третий их таскал.

— У нас так же.

— Оно и видно. — Он мотнул головой на мою руку. — Раненый мой ляжет где?

— В бараке у стены, за вторым рядом коек. Один. Остальные ночуют у себя.

— Один.

— И тот, кто его носит, — сказал я. — Занесёт и выйдет.

Ерофей отозвался от отвала, не оборачиваясь:

— Ладно. А обратно его как, если к утру помрёт?

— Скажем.

— Скажете. — Он щёлкнул костяшками. — Ну хоть на этом слово дайте.

— Слово, — сказал я. — В тот же час придём и скажем.

— В тот же час, — повторил Ерофей. — Ну ладно.

Игнат толкнул меня локтем в спину, пониже лопатки, и локоть не убрал, надавил ещё раз, в то же место. Оборачиваться я не стал, а только повёл глазами вправо, туда, куда он давил.

Между нами и баракom, шагах в семидесяти, лежали обломки от третьего пролёта — плиты друг на друге, и между ними проходы. Я их знал, я по ним воду носил. В одном таком проходе шло тёмное — шло низом, не поднимаясь, короткими переходами: две плиты — стоп, ещё две — стоп. И шло оно мимо нас, забирало вбок, в обход, к цистерне, туда, где бетонное ограждение и щель, в которую я утром вылезал боком.

— Так вот про воду, — сказал я Сивооку, и голос у меня не сел. — Кран у нас один. Он капает. Набивки у нас нет, мы третьи сутки...

Сивоок обернулся раньше, чем я договорил. Смотрел он не туда, куда я: он глянул на Игната и по его лицу сам нашёл место.

— Митяй! — сказал он в обломки.

Крика не было, сказал он так же, как ночью говорил про караул, и от плит до нас было шагов семьдесят, и всё равно тёмное встало. Оно не вышло на свет, а замерло между двумя плитами, в тени, и там осталось. Я видел край плеча и больше ничего.

— Митяй, — сказал Сивоок ещё раз, тише, будто для себя. — Я тебя вижу.

Плечо ушло за плиту. Сивоок постоял, глядя туда, потом сел обратно — опять в два приёма, упершись ладонью в колено.

— Митяй Косой, — сказал он мне. — Мой. Восьмой месяц со мной ходит, и восьмой месяц у него руки сами. Крупного не берёт: крупное он не тронет, за крупное я его в прошлый раз... — Он не договорил. — А по мелочи не отучится. У меня из мешка сухарь брал — у меня из мешка, при мне. Федотов мешок рядом лежал, так нет, ему мой надо.

— Данила Гаврилыч, — сказал Ерофей от отвала. — Я говорил, чтоб он с нами шёл. Я вчера говорил.

— Говорил.

— Ну и вот.

— Я с ним после разберусь, — сказал Сивоок. — Сядет он у меня к огню лицом, вот и вся ему беседа.

Ерофей засмеялся коротко, одним выдохом, и опять стал смотреть на отвал. Сапог у него был подвязан бечёвкой поверх подъёма, в два оборота, и бечёвка ползла к носку. Он подёрнул её, не наклоняясь, носком другого сапога.

Тёмное пошло обратно, всё так же, по две плиты, к их костру, и теперь я видел его лучше, потому что оно шло от солнца. Невысокий, в чём-то мешковатом, и в руках у него не было ничего длинного.

Я мог сказать вслух: у тебя человек в обход шёл, к моей щели, пока мы тут делим щебень. И тогда Сивоок должен был бы или отпираться, или ещё раз объяснять мне про сухарь, и мы простояли бы на этом до вечера, а раненого надо было заносить сегодня. Да и барак у меня был один, и кран один.

Я не сказал.

Но и то, что он мне сказал про дисциплину — двое до середины ночи, к огню лицом не садиться, — я в эту минуту передумал заново. Ночью я это слышал и поверил ему. Днём выходило так: он велит, и его слушают, а один при этом идёт мимо, и атаман узнаёт о нём тогда же, когда узнаю я.

Может, и не мимо. Может, ему велено было идти. Этого я не знал и знать не мог, и врать себе не стал: догадка, и всё.

— Раненого-то когда занесёте? — спросил я.

— Как договорим.

Игнат за плечом сипнул и переступил, и слышно было, как он тянет правую по щебню.

— Тогда договариваем, — сказал я. — Вода общая. Кран один, к крану ходите по одному и не ночью. Ближний щебень, до канавы, — общий: что нашли, то ваше. За западной грядой — ваше целиком, туда я своих не пушу.

— За грядой я был, — сказал Ерофей. Костяшки у него щёлкнули на обеих руках. — Там сарай пустой и две ямы. В ямах вода стоячая.

— Там был склад, — сказал я. — Под ямами кирпич и железо.

— Кирпич.

— Хорь, — сказал Сивоок.

— Я молчу. Я и говорю: кирпич он и есть кирпич.

Сивоок посмотрел на солнце, потом на меня.

— Сколько стоим?

— Пока раненый на ногах не будет.

— Он у меня месяц не будет.

— Тогда до первого, кто выстрелит.

Он подумал и кивнул — коротко, как ночью про караул. Я стоял на щебне босой ногой, переступал, чтобы не резало, и от этого кивка мне стало хорошо не по делу: кивнул как своему, как тому, с кем договариваются. И я начал ещё про порядок захода к крану и про то, кто кого предупреждает, говорил длинно и договорил бы до вечера.

От барака закричал Прохор.

Он закричал без слов — «а!» — и следом грохнуло: доска о доску, железо о кирпич, и я обернулся.

У боковой щели, с той стороны, где кирпич осыпается, лежал человек лицом в щебень. Тимофей стоял над ним на левой ноге, правую отставив, и держал его коленом между лопаток. Топор он держал в правой, обухом вниз, у самой земли.

— Митяй! — Сивоок встал с плиты в один приём, и лицо у него разом налилось красной. — Это что такое?! Отпустите его! Я сам разберусь!

— Разберёшься, — сказал Тимофей через поле. Голос у него сел, и он крикнул второй раз, ниже: — Разберёшься, когда я узнаю, чего он у моего частокола искал! Воды? Вот у него не вода!

Он поддел ногой и выволок из-под лежащего мешок — и мешок был наш. Тимофей встряхнул его, и в мешке пошло железом.

— Юрий Аркадьевич! — крикнул он. — Тут ножовка, тут два ключа, тут скобы! Это с полки!

Пошёл я туда быстро, да не вышло: правая ступня стала на что-то острое, я перенёс вес на левую, и быстрее шага не получилось. Сзади Игнат волочил правую, и щебень под ней шуршал ровно, без остановки.

— Стой! — сказал Сивоок мне в спину. — Слышишь, стой! Он мой человек!

— А лежит у моих кольев, — сказал я, не оборачиваясь.

Эти сто шагов я шёл долго, останавливаясь. Сивоок шёл параллельно, по своей стороне, и Ерофей за ним, и от костров поднялись двое. У бетонного ограждения Сивоок встал — не подошёл, встал, как договорено.

— Верни, — сказал он. — Верни человека, и стоим, как договорились. А нет — так и договора нет.

— Вора не отдам, пока не скажет.

— Он тебе не скажет.

Митяй лежал на боку. Тимофей стянул ему руки под локтями проволокой, той самой, с частокола, и скрутку прижал каблуком. Тощий, и роба на нём чужая, велика. Через правую бровь шёл шрам, а левый глаз он держал зажмуренным и не открыл, когда я присел рядом.

Я спросил его так, как спрашивал бы про поломку:

— Мешок ты взял с полки в бытовке или из барака?

Он молчал.

— Один шёл или послали?

Молчал.

С машиной так и выходит: спросишь коротко — получишь цифру. Тут я спросил дважды и не услышал ни «да», ни «нет», ни вранья. Он лежал и молча слушал, где стоит Сивоок.

Я поднялся, отряхнул колено и понял, что не знаю, что делать дальше.

— До утра, — сказал Сивоок от ограждения. — До утра он у меня в лагере, живой, или перемирия нет.

За стеной капнул кран, а потом ещё раз.

Солнце село в морево за отвалом, и от этого красным стало всё: щебень, доски частокола, проволока на руках у Митяя. Тимофей затащил его внутрь и посадил у второго ряда коек, лицом к стене, и сам сел напротив с топором на коленях. Аглая ложиться не стала, а сидела у кирпича и смотрела на пленного. Игнат лёг на своё место и правую ногу вытянул.

От щели Прохор сказал:

— Идёт. Один.

Я вылез. По нейтральной полосе, от их костров, шёл Ерофей. Пустой — ни котла, ни палки, — и руки он держал поднятыми на высоту головы, ладонями ко мне, и шёл медленно, чтобы это было видно от частокола.

Шагов за пять до кольев он встал, но рук так и не опустил.

— Данила Гаврилыч велел говорить, — сказал он. — Не требовать. Говорить.

Глава 4. Слово Хоря

Лом лежал у кладки, где я его и бросил ночью. Правая рука у меня была замотана серым, пальцы не гнулись — Аглая сказала: дожмёте, и разойдётся. Я подцепил лом левой у середины и так и понёс.

— Куда ты с ломом, — сказал Тимофей от коек. Он сидел напротив Митяя и не встал. — Он же с поднятыми пришёл.

— Пусть с поднятыми.

Я полез в щель боком, и доска опять взяла правое плечо. Босой ступнёй я встал в щебень: то острое, на которое наступил в полдень, сидело под большим пальцем и никуда не ушло.

Ерофей с места не сошёл, между нами было шагов десять. Руки он опустил к поясу, но ладони так и держал развёрнутыми ко мне, и когда я вышел с ломом, не убрал их и выше не поднял.

— Данила Гаврилыч велел говорить, — повторил он. — Ну я и говорю. Митяя Косого вернуть до утра. Целым. Ноги на месте, руки на месте, глаз какой был, такой и остался.

— Он у меня глаз сам не открывает.

— Это его дело, он и на кордоне так лежал. — Ерофей переступил и подтянул бечёвку на подъёме сапога — она опять поползла вниз. — Целым, я сказал. А если до утра его в лагере не будет, то Данила Гаврилыч сочтёт, что перемирие ваше — пустой звук, и придёт за своим сам. Это его слово, не моё. Моё бы короче было.

От костров пошёл кашель — долгий, с надрывом. Ерофей послушал и сплюнул в сторону.

— Федот, — сказал он. — Он с ночи так. Ему бы горячего, а у нас котёл дырявый с краю.

Я молчал, и в голове стояло только, что барак один и кран один, а Митяй сидит у второго ряда коек и слушает стену.

— Сивоок, — сказал я наконец. — Кто он такой, чтобы диктовать?

— Он атаман.

— Чей?

— Наш. — Ерофей щёлкнул костяшками на левой руке, потом на правой. — А ты чей?

— Мы тут стояли до вас, и одну ночь уже отбили, и не от людей. Туши до сих пор снаружи лежат, ты их видел, когда шёл. Мы держим это место сами, без него.

— Держите, — согласился Ерофей. — Я и не спорю, что держите. — Он повёл плечом, и ладони у него дёрнулись вверх и опять легли. — Только у нас два дробовика и карабин, а у тебя, барин, лом в левой. Я не считать пришёл, но я посчитал.

— Ты за грядой был, — сказал я. — Там сарай и две ямы.

— Был. Пустой сарай, я тебе про это днём сказал, и Данила Гаврилыч на меня посмотрел. — Он опять поддёрнул бечёвку. — Ты мне ту гряду второй раз не суй. Я за человеком пришёл.

— Я про то, что вы там ничего не взяли.

— И ты про то, что вы тут взяли. Мешок этот ваш. — Ерофей помолчал. — Он с полки?

— С полки.

— Ну вот. А мне что с того? Мне человека вернуть велено. Мешок ваш при вас и останется, мне про него ничего не сказано.

За частоколом, у самой щели, Прохор сказал негромко, но я разобрал:

— Юрий Аркадьевич, аон с ножом или без?

— Без, — сказал Ерофей громче, чем нужно. — Без я, малый. Хочешь — руки подниму выше, я их и так третий раз поднимаю.

— Не надо, — сказал я.

За стеной капнул кран, и я подождал.

— Так вот, — сказал я. — Даром я его не отдам.

— А я и не говорил «даром». Я говорил «до утра».

— Это одно и то же.

Ерофей опустил ладони на пояс и постоял, глядя мимо меня.

— Слушай, — сказал он. — Я тебе не Данила Гаврилыч. Мне сверх переданного договариваться не дано, так я и не буду. Мне сказано: слово принести и слово унести.

— Тогда неси.

— Так дай что нести. — Он щёлкнул костяшками. — Только не гордость. С гордостью я к нему не пойду, он мне её обратно вынесет. Скажи словами: за что отдашь. Одно, два — сколько скажешь, я запомню, память у меня есть.

Тимофей внутри двинул топором по коленям, и я услышал, как стукнуло дерево о дерево.

— Стой там, — сказал я Ерофею. — Не подходи к колям.

— Я и стою.

Внутри я протиснулся тем же боком, и доска опять прошла по плечу, в том же месте. Прохор придержал прут.

— Он ждать будет?

— Будет.

Топор у Тимофея лежал на коленях, сам он не сводил глаз с Митяя. Митяй лежал лицом к стене, руки за спиной в проволоке, и дышал ровно, коротко.

— Сюда все, — сказал я. — К столу.

Аглая поднялась от кирпича, держась за него и разгибаясь в два приёма. Игнат сел на своём месте и правую ногу подтянул руками. Тимофей вставать не стал, и я не велел.

— Говорю коротко, — сказал я. — Драться нам с ними нечем. У них два дробовика и карабин, у нас лом, топор и пика. Через частокол они нас достанут с двухсот шагов, а на щель не пойдут, им незачем. Это одно. Второе: отдадим его за спасибо — завтра у нас нет ничего. Ни воды своей, ни щебня. Говорите.

Прохор поставил пику к стене и положил кулак на доску стола.

— Не отдавать. — Костяшка стукнула. — Держать. До последнего держать, Юрий Аркадьевич. — Ещё стук. — А просить не землю. Землю мы и так топчем. Патронов просить. Или ружьё. Одно ружьё, хоть худое, хоть с одним стволом.

— Дальше.

— Дальше просто. — Он стучал теперь на каждом слове, и доска отзывалась глухо. — Сколько у них патронов, мы не знаем. Ну пусть дадут пять. Это пять раз, когда к нам идёт не человек. Я вчера видел, как эта широкая шла. Её прутком не проймёшь.

— Ружья не дадут, — сказал Тимофей.

Прохор открыл рот и закрыл, а кулак с доски убрал.

— Не дадут, — повторил Тимофей. Он говорил медленно, как будто считал. — Ружьё — это у них жизнь. Он тебе воду отдаст, угол отдаст, а ствол не отдаст, потому что без ствола он до кордона не дойдёт. Ты его просишь отдать то, чем он тебя же и держит. Он тебе на это скажет так: забирай моего вора, повесь его на своём частоколе, а я утром снимаюсь. И уйдёт. И мы останемся с твоими пятью патронами, которых нет.

— Я не говорил повесить.

— Я тоже не говорил. Я говорю, что он скажет. — Тимофей потянулся левой и подёргал прут в спинке ближней койки, тот, что ходил в гнезде третью неделю. Подёргал и отпустил. — Земля и вода. Больше нам с них взять нечего. Вода у нас одна, кран один, набивки нет — я знаю, я третьи сутки за ним не гляжу. И щебень. Пока щебень наш, мы едим. Как только он общий по-настоящему — мы не едим.

— Так он и сказал: ближний общий, — сказал Прохор.

— Сказал на словах, в поле. А я хочу, чтоб он это сказал за нашего человека. За человека дороже.

Аглая всё это время стояла и молчала, руки держала перед собой, как держат их, когда только что вымыли. А мыть было нечем.

— Игнат до нас четыре дня шёл, — сказала она. — И дошёл, а потом чуть не остался за грядой. Я ему голень шила при огарке, без настойки, не там, где надо, и игла в ногу. — Она смотрела на мою правую руку. — У меня три тряпки. Если завтра будет война с людьми, то мне нечем перевязать одного. Не двоих — одного. Стая нас за две недели ест, а люди с дробовиками — за одно утро.

— Я не про войну, — сказал Прохор. — Я про патроны.

— Патроны и есть война, — сказала она и отвернулась.

Игнат сипло сказал от стены:

— Хорь ждёт.

— Пусть ждёт.

Я стал перебирать вслух, себе под нос, потому что молча сбивался. Ружьё — это на пять раз, а земля — это каждый день. Барак у нас один, кран один, и если у нас нет щебня до канавы, то нет и барака: сидеть в нём будет незачем. Ружьё дадут — не поверю. Земля им и так не нужна: он сам утром сказал, до вора, что развалины ему без надобности. Значит, за вора можно взять то, что ему и так не жалко, и взять это словом.

— Слушайте, — сказал я. — Оружие я просить не буду. Ни ружья, ни патронов. И больше об этом не говорим.

Прохор стукнул костяшкой по доске один раз и убрал руку.

— Прошу землю и воду, — сказал я. — Что сказано в поле — то же самое, но за него. И сверху с них какой-нибудь жест, чтобы это стоило чего-то. Отдаём Митяя.

Тимофей переложил топор с колен на пол, обухом к себе.

— Ну ладно, — сказал он. — Твоё слово.

— Моё.

Митяй у стены пошевелился и повернул голову — не ко мне, к проёму, туда, где было поле и Ерофей.

Я пошёл к щели, и по пути Тимофей поднялся с пола, забрал мешок с инструментом из-под койки и понёс его за мной, держа за горловину левой.

— Ножовка, два ключа, девять скоб, — сказал он. — Пересчитал, пока вы говорили. Скоб было одиннадцать, две он потерял, пока волок.

— Отдаём весь мешок.

— Я так и понял. — Он поставил мешок у стола, рядом с ножами. — Ножовкой я латку резал. Другой у нас нет.

— Знаю.

— Ну и всё. — Он отступил, сел на кирпич и положил топор себе на колени обухом наружу. — Иди говори.

Наружу я вылез через щель, и мешок Прохор просунул мне вслед, за ногами.

Ерофей ждал там же, шагах в пяти от кольев. Руки он уже опустил, но держал их подальше от боков, на виду. Бечёвка на его сапоге сползла к самому носку и волочилась концом.

— Долго, — сказал он.

— Слушай.

— Я слушаю. Я тут стою и слушаю, а Федот там кашляет, я его отсюда слышу. У него в груди сипит с ночи. — Он щёлкнул костяшками на правой. — Это к слову. Говори.

— Кран и вода — как в поле сказано. По одному, не ночью, с котлом или флягой, без топора. Щебень до канавы — общий: что подняли, то ваше, что мы подняли — наше. Дальний участок, всё, что за западной грядой, — ваше целиком и без разговора, и я туда своих не пущу. Извольте передать милостивому государю Сивооку, что...

Ерофей сощурился. Шурился он не на поле и не на солнце, а на меня, снизу вверх, на мою робу, на оторванный по локоть рукав, на серую тряпку с узлом наружу, на босую ступню.

— Скажи Сивооку, — сказал я. — Просто скажи ему: что за грядой — их, всё, и я это подтверждаю при своих.

— Ага, — сказал Ерофей и хмыкнул себе в воротник.

— Дальше слушай.

— Да я слушаю. — Он опять щёлкнул костяшками, теперь на левой. — Ты вот говоришь — за грядой наше целиком. А я там был, я тебе утром говорил: сарай пустой и две ямы. Ты мне пустой сарай в подарок несёшь?

— Под ямами кирпич и железо. Там был склад.

— Кирпич.

— И железо. Тебе не жалко, мне не жалко, а сказано будет за человека.

Он замолчал и молча отвернулся к отвалу.

— За человека, — повторил он. — Ну, говори.

— Митяй утром возвращается в ваш лагерь. Живой и целый, с руками. Проволоку снимем при вас. И сверху вот. — Я поддел мешок и поставил его перед собой, на щёбень, между нами. — Это то, что при нём нашли. Всё, что было при нём. Наше с полки. Отдаём вам.

Ерофей на мешок посмотрел долго, но наклоняться не стал.

— Скобы, — сказал он. — Скобами Федоту носилки не спьёшь, у нас и доски нет.

— Доска у вас будет за грядой, в сарае.

— Ты и правда всё туда сваливаешь. — Он подцепил бечёвку носком, она не пошла, и он её оставил. — Ладно. Дай я повторю, а то я приду и перевернуть могу, а Данила Гаврилыч мне за перевернуть...

— Повтори.

— Вода из крана общая, по одному, не ночью, без топора. — Он загнул палец и дальше говорил в свою руку. — Ближний щёбень до канавы общий, что нашёл — твоё. За грядой — наше целиком, и своих ты туда непустишь, и подтвердишь при своих. Вора отдаёте утром живого и с руками, проволоку при нас снимете. И мешок сверху, чтоб зла не держали. Всё?

— Всё.

— А про то, что если он к утру помрёт, — сказал Ерофей, — это уже уговорено. В тот же час придёте и скажете.

— В тот же час.

— Ну ладно. — Он взял мешок за горловину, взвесил в руке и передвинул хват выше. — Тяжёлый. Ножовка тут.

— Тут.

— До заката вернись с ответом. — Он глянул на отвал, где солнца уже не было. — Ну, до темноты. Он скорый на «да» и долгий на «нет», ты жди.

Он пошёл по нейтральной полосе, ставя ноги ровно, и железо в мешке звякало на каждом шагу. У обломков плит он остановился, переложил его в другую руку и пошёл дальше, и оттуда, от углей, кто-то заранее пошёл ему навстречу.

Тимофей не отходил от пленного, держа топор на коленях. Аглая грела воду на два пальца в котелке и трижды за час мыла над ним руки. Я взял лом от кладки, левой у середины, и позвал Прохора.

— Ближние склады. Те, что у корпуса осыпались. Пока видно.

— Я с вами, — сказал Игнат от своего места.

— Лежи.

— Я сидя простучу. — Он подтянулся на локте. — Мне не бежать.

Шли мы долго: Игнат вёз правую ногу по щебню, и шорох от неё шёл ровный, без остановки. Складов было три в ряд, и у всех трёх кровля легла внутрь, и в первый мы даже не полезли: там кирпич стоял горбом до самого прогона.

Второй был пустой, пол дощатый, доски местами вздулись. Я бил ломом плашмя и слушал. Прохор ходил за мной и наступал каблуком туда, куда я показывал.

— Гулко, — сказал он у второго окна. — Юрий Аркадьевич, тут гулко.

Подняли две доски. Под ними была пустота в ладонь, а в пустоте — четыре мотка проволоки, ржавые, слипшиеся один с другим. Я поднял верхний, и он разошёлся с хрустом.

— Ржавая, — сказал Прохор.

— Она гнётся.

— Гнётся. — Он повертел моток. — Тимофей Игнатьевич обрадуется. У него полметра было.

Ещё нашли жестянку с гвоздями — горсть, все гнутые, будто их вынимали и складывали. И две стеклянные ампулы, пустые, без надписей, с отбитыми носиками. Я подержал их и сунул в карман. Лежали они отдельно, в самом углу.

— Это медицинское? — спросил Прохор.

— Не знаю.

— Аглае Никитичне отдать?

— Отдам.

Игнат сидел у порога третьего склада, на кирпиче, и бил по полу костяшкой. Ударит, послушает, передвинется на пол-локтя — и опять то же самое. Когда мы дошли, он показал подбородком в глубину:

— Там дверь. За ней ещё.

Дальняя подсобка была без окна. Я лазал в ней на левом колене, ощупью, и в углу, под жестью, стоял мешок — целый, тяжёлый, узел затянут. Я его выволок за узел и уже на свету увидел, что по низу и по одному боку он позеленел.

— Крупа, — сказал Прохор. Он сунул руку до локтя, вынул горсть, поднёс к лицу и ссыпал обратно. — Внизу мокрая была. А в середине сухая.

— Отбирать будем, — сказал я. — Плесень отобрать, остальное промыть.

— Промывать чем?

Я не ответил. Кран у нас капал, и котелок под ним набирался за полдня.

Обратно мешок несли вдвоём, за углы: он левой, я левой, и на каждом шаге мешок бил меня по бедру, по тряпице, прямо поверх укуса. Прохор шёл и оглядывался на склады.

— Пусто у нас, — сказал он. — Тут по всему участку пусто, будто прошлись до нас. То ли твари, то ли люди раньше.

— Тут и не бывает богато, — сказал Игнат сзади. Он говорил в два приёма, с передышкой. — Тут расходники держали. Гвоздь, набивка, ветошь. Техника в другом крыле стояла, за путями.

— За грядой, что ли?

— Дальше гряды.

Прохор помолчал шагов десять.

— Значит, мы себе ветошь взяли, а им кирпич отдали, — сказал он. — Ну хоть кирпич.

Мешок мы поставили в бараке у стены. Тимофей от пленного не встал, только дотянулся, взял горсть и растёр в пальцах.

— На два дня, — сказал он. — Если по разу в день. На два, я перевешу утром.

Темнеть стало быстро, и Ерофей пришёл, когда угли у них уже не давали света, от костров перед этим долго считали вслух — я разобрал только цифры, без слов, и решил, что считают, кому когда идти к крану.

Он встал в тех же пяти шагах от кольев, держа раскрытые ладони у пояса.

— Атаман принимает, — сказал он. — Всё принимает. Только обмен не сейчас.

— Уговор был утром.

— Утром и есть. На рассвете. — Он переждал. — Лично. Он сам придёт, и ты сам выйдешь, и при свидетелях с обеих сторон. Двое от нас, двое от вас. Такое слово, и оно не передуется.

Я стоял и молчал — дольше, чем надо было, знал, что дольше, и всё равно стоял.

— Условия ставил я, — сказал я наконец. — И он их взял. А теперь ты мне их обратно приносишь и говоришь, как я выйду и с кем.

— Я ничего не приношу. Я говорю, что велено.

— Так и я велю. У меня ведь твой человек за досками сидит.

— Он не мой. — Ерофей наступил на волочащийся конец бечёвки. — Он Данилы Гаврилыча. И я тебе так скажу: ты сейчас третий раз то же самое говоришь, и я третий раз стою. Мне до костра идти в темноте, а там Федот кашляет.

Он уже переступил, чтобы повернуться, и это почему-то меня отпустило.

— Извольте передать Даниле Гаврилычу, — сказал я, — что слово Воронцовых...

И встал на полуслове, сам себя оборвав.

Откуда это вышло, я так и не понял: кругом были только колья, щебень и человек с бечёвкой на сапоге.

— Чего? — сказал Ерофей.

— На рассвете, — сказал я. — Выйду. Двое со мной.

— Ну ладно. — Он опустил ладони, впервые за весь разговор, и сразу поднял обратно. — Ты не спи, он рано ходит.

Он повернулся и пошёл в темноту. Я стоял у щели и смотрел ему в спину, пока её было видно.

Утром надо было выйти на голое поле и стоять перед человеком, у которого пять человек и три ствола, и говорить с ним как с равным. А за мной был мешок мокрой крупы, кран с вышедшей набивкой, четверо людей, из которых двое даже не ходят, и слово, которое ничем не подтверждается, кроме того, что я его сказал.

Глава 5. Рассвет у границы

Аглая пришла к нему с тряпицей. Перед этим она намочила её в котелке, где воды стояло на два пальца, и отжала так, что в котелок вернулось почти всё.

— Третья, — сказала она мне через барак. — Я её потом высушу и опять сложу. Не смотрите так.

— Я не смотрю.

— Смотрите же. — Она села на пол у дальних коек, боком к Митяю, и подождала. — Голову поверни. Бровь у тебя разбита, а ты лежишь на ней.

Митяй головы не повернул. Тогда она сама подвела тряпицу под его щёку и провела вдоль брови, коротко, точно так же, как мне.

— Кость целая, — сказала она. — Тимофей Игнатьевич, вы его чем?

— Коленом, — сказал Тимофей от кирпича. Топор лежал у него на коленях, и ногу он держал вытянутой, потому что она не сгибалась. — Он на кирпич упал сам. Я не бил.

— Я не спрашиваю, кто бил.

— А выходит, что спрашиваешь.

Она промолчала и обтёрла ему бровь по второму разу. За стеной капнул кран, и от чужих костров донесло кашель — до конца, до сипа, и потом ещё немного. Кашлял Федот: Ерофей ещё днём сказал, что с ночи так.

— Скользкий ты, — сказала Аглая ровно. — Ты в проволоке лежишь, а свои тебя вором зовут. Свои. Восьмой месяц с ними ходишь. Как это у тебя вышло?

Митяй молчал, а левый глаз жмурил крепче прежнего, и от этого у него дрожала половина лица.

В трёх шагах, у стола, я катал в кармане две стеклянные ампулы одну о другую, потому что правой рукой ничего другого делать было нельзя.

— Мешок, — сказал я. — Ножовка, два ключа, скобы. Ты через частокол лез не за едой и не за патронами. Крупа у нас у стены стояла, ты через неё шагнул. Зачем железо?

Глаз у него дёрнулся сам собой, без его воли.

— Вольным, — сказал он.

— Кому?

— Вольным. У переезда стоят, мешочники. Им железо надо, они за железо ведут. — Он говорил в стену, быстро, и голос был сиплый, будто он давно не пробовал говорить. — Мне бы за ножовку дорогу. Подальше. Куда угодно, лишь бы Сивоок...

И он замолчал на полуслове.

— Митяй, — сказала Аглая.

Он лежал молча.

— Тебе бровь ещё раз протереть?

Он так и лежал.

Она сложила тряпицу вчетверо и зажала в кулаке.

От стены, где лежал Игнат, стало слышно, как он подтягивает правую ногу руками. Он молчал всё это время, и я про него забыл.

— Один вопрос, — сказал он с сипом. — Митяй. Сколько вас у атамана? Всех. И с чем.

— Пятеро, — сказал я. — Он сам сказал: пятеро.

— Он сказал, сколько на костре сидит.

Митяй помолчал, а потом заговорил, и заговорил на удивление легко:

— Семь. Или восемь, если Кузьма дошёл. Двое у балок остались, за отвалом, с ранеными от той ночи. Твари нас порвали на третьем пролёте, там и легли двое. Два дробовика и карабин.

Патронов не скажу, не мои. Остальные с факелами и с ножами, у Ерофея нож в сапоге, второй за пазухой...

И опять оборвал себя, а спина у него пошла кверху и так осталась.

— Дальше, — сказал я.

Он только повернулся лицом к стене плотнее, чем лежал до этого.

Тимофей переложил топор обухом к себе и качнул левой рукой разболтанный прут у изголовья койки. Качнул и бросил.

— Семь-восемь, — сказал он. — А он мне тут про «я людей считаю».

— Он и считал. Свои считал.

Аглая встала, держась за койку, и разогнулась в два приёма. Тряпицу она понесла к котелку, постояла над ним и положила её сушиться на кирпич, узлом наружу.

— Руки бы, — сказала она. — Мне бы руки помыть.

— Воды на два пальца.

— Я знаю, сколько там воды. Я её сама наливала.

Крупку поставили варить в серый час, когда от частокола ещё не было тени. Промывать было нечем, и Аглая отбирала пальцами: зелёное — в сторону, остальное — в котелок. Отобранного вышло на две горсти, и она сдвинула их к стене: может, ещё гляну днём.

Тимофей сидел у пленного и мешал в котелке прутом от койки — тем самым, что ходил в гнезде. Выдернул всё-таки.

— Не кипит, — сказал он. — Огонь низом идёт, весь в щепень.

Напротив, на кирпиче, сидел Прохор, поставив локти на колени. Он положил кулак на колено, сжал и разжал. Потом ещё раз — и так и сжимал всё время, пока говорил.

— Юрий Аркадьевич. Я спрошу, пока все тут.

— Спрашивай.

— Кто вам дал право? — Кулак сжался. — Пленного отдать — вы решили. Землю за грядой отписать — вы. Мешок с инструментом, ножовку — вы отдали, а ножовка одна была на всех. — Разжался. — Голоса не было. Мы вчера у стола стояли, я говорил про патроны, Тимофей Игнатьевич говорил про землю, Аглая Никитична про тряпки. А потом вы сказали «моё слово» — и всё.

— Я и сказал: моё.

— Вот я и спрашиваю, откуда оно у вас такое.

Пока он говорил, я вынул из кармана пустую ампулу и катал её между большим и указательным пальцами. Носик был отбит косо и цеплялся за мозоль.

— Оттого, что барак стоит, — сказал я.

— Барак и без вас стоял. — Кулак сжался. — Он тут двадцать лет стоял.

Тимофей вынул прут из котелка и стукнул о край, сбивая крупку.

— Ты чего это с утра? — сказал он. — Ты вчера пику к стене поставил и сел. А кто в щели стоял в ту ночь, когда широкая шла? Он и стоял — спиной, впритык к прутьям. А ты доску держал изнутри, и я держал.

— Держал.

— Ну и вот.

— Ну и вот, — повторил Прохор. — А до того я под панелью лежал с трубой в боку, и меня несли. Ты мне это в лицо скажи, если хочешь: Кулик, тебя носили. Скажи.

— Я не про то.

— Ты ровно про то. — Он разжал кулак и опять сжал. — Я, Тимофей Игнатьевич, десятником был. И не по названию. На турбинной третий год был старшим в смене, и наряды подписывал тоже я. Под рукой у меня ходило семеро, и двое тебя постарше. — Сжал. — Я младших по чину слушать не привык. Чин теперь ничего не значит, а привычка осталась.

— Тут нет чинов, — сказал Тимофей.

— Тогда и слова его нет.

За стеной капнул кран. Я стал ждать второго и дождался.

— И ещё скажу, раз начал, — сказал Прохор. — Вы, Юрий Аркадьевич, мягкий. Вы вора кормите и бровь ему трёте. Вы ему землю отдали за то, что он у нас же скобы унёс. У Сивоока семь человек и три ствола, а вы ему подарки носите мешками.

— Мешок был решён при всех, — сказал Тимофей.

— При всех, а решил один.

Я открыл рот и не ответил.

Отвечать надо было коротко, а всё, что приходило в голову, начиналось с «потому что». Дробовиков у нас нет, а за грядой пустой сарай, и я его отдал даром. Мешок стоил человека. Всё это я вчера говорил у стола, и повторять второй раз значило просить, чтобы согласились.

Я молчал и считал секунды, сбился, начал заново.

Прохор смотрел на мою левую руку, потом сжал кулак и не разжал.

— Ну вот, — сказал он тихо. — Я так и думал.

— Решать здесь буду я, — сказал я. — Пока барак стоит на моём слове. Кто не согласен — вправе уйти. Сейчас, до рассвета, я держать не стану.

Аглая подняла голову от котелка.

— Крупа на четверых поделена, — сказала она. — Если кто уходит, я делю на троих, и знать мне это надо сейчас. И крупы этой — на один раз сварить, на завтра, и всё.

— Дели на пятерых, — сказал Тимофей. — Игнату тоже.

— Тогда по горсти не выйдет.

Прохор встал, взял пику от стены и понёс её к щели, где остановился и обернулся к Тимофею, мимо меня.

— Прут-то вынул, — сказал он. — Койка теперь на трёх.

— Она и на двух стояла.

В щель он полез боком и задел плечом ту же доску, что задевала меня.

Котелок был один, и Аглая отмеряла в кружки по очереди: в жёлтую с отбитым краем, в жестянку из-под гвоздей, в мою. Кружек было три, а едоков пять. Она наливала, смотрела на уровень, отливала обратно ложкой, добавляла из котелка и опять смотрела.

— Не ровно, — сказала она.

— Ровно, — сказал Тимофей от коек.

— Не ровно. Тут выше на палец. — Она сняла ложкой сверху и перелила в соседнюю. — Я не для вас ровняю. Я для себя.

Каша была серая и жидкая, крупа не разварилась. Пахло сыростью.

Игнат взял жестянку и держал её на колене двумя руками.

— Горячая, — сказал он сипло и подул на обожжённые пальцы. — Это хорошо.

— Это вода горячая. Крупы там на две ложки.

— Вода тоже еда.

— Вода — не еда, — сказала Аглая. — Вода — вода.

Митяю она отнесла жёлтую с отбитым краем и поставила у стены, рядом с его коленом. Руки у него были за спиной в проволоке, и он на кружку не посмотрел.

— Развязывать не буду, — сказал Тимофей.

— Я и не просила.

Она села к нему на пол, взяла ложку и стала кормить его, придерживая кружку у его подбородка. Митяй ел быстро и глаза так и не открыл.

— Ему-то за что, — сказал Прохор снаружи, через щель. Он всё слышал, стоя у кольев.

— За то, что утром его отдавать живого, — сказала Аглая. — Мёртвого мне отдавать нечем.

Она вернулась к котелку и вымыла над ним руки — плеснула на пальцы из фляги, растёрла и вытряхнула капли в щебень у порога. Воды во фляге стало меньше на два пальца. Я это увидел и промолчал.

Потом она подозвала Игната ближе к свету.

— Руку.

— У меня нога.

— Ногу я утром смотреть не буду, там игла и ждать нечего. Руку.

У него повыше кисти шла царапина в два пальца — свежая, о кирпич, когда он полз к своему месту. Аглая сняла с сумки ремень, на котором её носила через плечо, и стала резать его ножом вдоль. Резался он туго: нож шёл по волокну и соскакивал.

— Бинт где? — спросил Игнат.

— Бинта нет. Я его вам вчера показывала.

— Я думал, ещё есть.

— Все думают, что ещё есть. — Она отрезала полосу в палец шириной, отряхнула её о колено и намотала ему на предплечье в два оборота. — Оно грязное. Оно всё равно грязное, что с ремня, что с рубахи. Разница в том, что ремень я хоть плесенью не мыла.

Игнат посмотрел на свою руку и потрогал узел.

— Аглая Никитична, а ремень-то нужен.

— Сумка и без ремня в руке носится.

— А если бежать?

— Вы побежите, Игнат Петрович?

На это Игнат не ответил. Остаток ремня она свернула и убрала в сумку — на второй раз.

Больше никто не говорил. Тимофей сидел напротив Митяя, держал топор на коленях, обухом наружу, и время от времени дёргал в изголовье оставшийся прут. Тот ходил в гнезде и не выходил.

Я сел у стены, у самого проёма, и стал есть левой рукой. Каша была горячая только сверху.

Слова я к тому времени сложил и повторял про себя, чтобы утром не искать. Про воду — по одному и не ночью. Про щебень до канавы. Про гряды. Про Митяя: проволоку снимаем при вас. Всего четыре пункта. Я прогнал их и на третьем сбился: вспомнил, что не сказал, кто кого предупреждает, и стал вставлять это между третьим и четвёртым, а оно не вставало. Прогнал заново.

А потом я бросил считать пункты, потому что мне было страшно — не так, как ночью, когда широкая шла на щель. Тогда было холодно в спине, и руки всё делали сами. Сейчас руки были не нужны, до рассвета оставался час, и всё, что от меня требовалось, — выйти на голое поле и говорить. Живот тянуло книзу, и пальцы левой руки я держал на кружке, чтобы они были заняты.

Ампулу я вынул из кармана и покатал по доске. Вспомнилась не та ерунда: бечёвка на сапоге Ерофея, как она ползла к носку и как он подцепил её носком другого сапога и не достал.

Он придёт с двумя и с дробовиком, и будет смотреть на босую ступню, как смотрел в полдень.

Кружку я поставил и стал считать пульс под серой полосой на правой руке. Досчитал до двадцати и потерял счёт.

К порогу Прохор пришёл, но не вошёл. Он встал в проёме, держа пику у бедра.

— Третий прут ходит, — сказал он. — Тот, что у бетона.

— Забей.

— Камня нет.

— Ты кашу возьми, — сказала Аглая. — Твоя стоит.

Прохор посмотрел на кружку — она стояла на доске под обрезком жести, чтобы не остывала, — а на Аглаю не посмотрел.

— Я у частокола постою, — сказал он. — Кто-то же должен.

И ушёл, не оглянувшись.

Аглая подошла, подняла жёсть, потрогала кружку ладонью и накрыла её снова.

К кольям я вышел, когда небо над отвалом пошло серым по низу. Прохор стоял, где сказал, и пику держал у бедра.

— Со мной пойдёшь, — сказал я. — Ты и Тимофей.

Он сел на кирпич, положил пику через колени и стал сжимать кулак — сожмёт, разожмёт, и опять сожмёт.

— Не пойду.

— Почему?

— Потому что вы его отдаёте. — Кулак сжался. — Ружья не просили. Патронов не просили. Просили щебень, по которому мы третью неделю ходим и который и так наш. — Кулак разжался. — Я вчера сказал: держать. Вы сказали — нет. Ну и стойте с ним сами, вы у нас мягкий, Юрий Аркадьевич, вы с ним договоритесь.

Я стоял и подбирал слово потверже, и подбирал долго, а в голове шло по кругу одно: «у меня четверо, из них двое не ходят». Так обо мне уже говорили однажды — в зале с окнами до потолка, когда читали приговор отцу: слабый наследник, ничего не удержит.

— Стой тогда у частокола, — сказал я.

— Я и стою.

По руке его было видно: кулак разжался и больше не сжимался.

Тимофей вылез в щель сам, топор оставил Аглае и взял лом. Игнат выбрался следом, приволакивая левую ногу.

— Ты лежи, — сказал я.

— Я слушать иду, — сказал он сипом. — Я и вчера слушал.

Пока ждали, я поймал себя на том, что провёл двумя пальцами под горлом, у ключицы, — оправил воротник. Воротника там не было третий месяц: ткань разодрана по шее, крючков осталось три из пяти. Я опустил руку, но через минуту опять поймал себя на том же. Так я стоял перед мастером, перед надзором, с журналом под локтем, и рука тогда шла к воротнику сама.

От их костров понесло дымом, а потом там начали считать вслух. Слова до меня не доходили, доходили числа, и шли они в две разные кучи: одну называли и повторяли, вторую называли и повторяли отдельно. Порох и патроны, что остались у них после собак, — это я понял по слову «дробь». Сколько там вышло всего, я не расслышал, а спросить было не у кого.

Сивоок пришёл, когда щебень стало видно на двадцать шагов. Шинели на нём не было — кожаная безрукавка, на плечах вытерта до белого, борода с рыжей проседью. Позади двое, оба с ружьями, стволами вниз.

Я вывел Митяя за локоть. Левый глаз у него был зажмурен вторые сутки, и шёл он, не глядя ни на своих, ни на меня. Проволоку я развёл левой, дожидая правой, — вышло с третьего раза. Руки у него упали и повисли.

— Иди, — сказал я.

И тут левый глаз у него сам дёрнулся, открылся на мгновение и опять зажмурился.

Сивоок глянул мне в лицо и тут же перевёл взгляд на руки — на серую полосу с узлом наружу, на лом у Тимофея, — и держал его там, потом на секунду опять в лицо, и снова на руки.

Своим он кивнул, не оборачиваясь, и один из них взял Митяя за плечо и повёл к костру, и Митяй пошёл сразу, не упираясь.

— Слушайте все, кто тут стоит, — сказал Сивоок. Голос он не поднял. Один из его людей переложил ружьё с плеча на локоть и стал выбивать щебень из подошвы, постукивая каблуком о каблук. Сивоок на этот стук даже не обернулся.

— Кран и вода общие. Щебень по эту сторону канавы — общий: что поднял, то твоё. Всё, что за западной грядой, — моё, и туда ваши не ходят. Это сказано при моих людях и при твоих. Переделывать не буду.

— И я так говорю, — сказал я. — При своих.

— Слышал.

Он постоял и потом опять посмотрел на мои руки.

— Слово держать легко говорить, — сказал он. — Исполнять труднее. Я твоё проверю, барин. Не сегодня. Проверю — и тогда посмотрим, крепко оно держится или так, до первого голодного дня.

Он повернулся и пошёл к западной гряде, и двое с ружьями за ним. Никто из них не оглянулся.

Мы стояли, пока их совсем не стало видно. Тимофей перехватил лом и сказал:

— Ну и всё.

Игнат переступил, подтянул правую и сказал то, что держал в себе с самого утра:

— Юрий Аркадьевич. Ближний-то участок мы с Прохором вчера прошли. Три склада, подсобка, проволока да мешок с прелой мукой. Пусто там, совсем. — Он посмотрел на гряду. — А техника — за грядой и дальше. Богатое там. Мы ему богатое и отдали.

Глава 6. Пустые карманы Зоны

Обход я начал с того же второго склада, где мы с Прохором подняли доски. Дырка в полу так и стояла открытая, доски лежали рядом, где я их бросил.

— Тут смотрели, — сказал Тимофей.

— Смотрели с краю. Пойдём вдоль стены.

Лом он взял себе, а я взял прут — тот, что он выдернул из койки. Держать его пришлось левой: правая под серой тряпицей, пальцы не шли. Прут был лёгкий, по кладке отдавал коротко, и я по нему ничего не слышал.

— Дай лом.

— Возьми, — сказал Тимофей, перехватил лом к середине и подал так, чтоб я взял левой. — Правой не дожимай.

Стены я простукивал по низу, на две ладони от пола, где кладку кладут в полкирпича, и там, где за ней пустота, звук идёт другой — глуше и с задержкой. В цеху я так искал ниши под кабель, когда чертёж не сходился с делом. Тут кладка отзывалась ровно везде. Один раз ушло гулко, и я остановился, но за отбитой штукатуркой оказалась ниша под щиток, пустая, только два огрызка провода загнуты назад и обмотаны изолентой, совсем разошедшейся.

— Провод медный, — сказал Тимофей.

— Два вершка.

— Два вершка тоже медь. — Он выкрутил их и сунул за пазуху. Потом потрогал крюк у рамы, на котором ничего не висело, и подёргал его. — Держит.

— Тебе он зачем?

— Если бы он не держал, я бы его загнул. — Он пошёл дальше и через шаг сказал: — Одиннадцать скоб было, две потерял. Я про это думаю с вечера.

К пристройкам мы вышли, когда солнце встало над отвалом. Пристройек было четыре. Три стояли под одной кровлей, четвёртая с торца, и у неё кровля легла внутрь целиком, только угол держался на обломке прогона. Я лёг на бок и смотрел в щель, пока глаз не привык: под перекрытием было пусто. В дальнем углу лежала обувь — один сапог, голенище разрезано вдоль, подошва отошла от носка.

— Правый или левый? — спросил Тимофей.

— Левый.

— Ну и всё.

Я всё равно достал его прутом, подтянул к себе и рассмотрел поближе. Подошва была прошита и вторым рядом проклеена, а у нас на Реакторе казённые шили в один ряд, и они разъезжались за зиму. Я сунул сапог назад под перекрытие.

Проволоки мы набрали ещё моток и гвоздей полторы горсти, все гнутые, будто их кто-то вынимал и складывал в одно место. Гвозди Тимофей ссыпал в жестянку и тряс её на ходу, пока я не сказал перестать.

В третьей пристройке под лавкой стояли ампулы. Четыре штуки: три битые, одна целая и пустая, носик отбит косо — такая же, как те две, что лежали у меня в кармане с вечера.

— Букв нет, — сказал Тимофей, повернув её к свету.

— Нет.

— А должны быть. На казённом ставят. — Он повертел её ещё. — Аглае Никитичне снести?

— Снесу.

— Ты вторые сутки говоришь «снесу».

Бак мы нашли к вечеру, за четвёртой пристройкой, под щебнем: алюминиевый, литров на сорок, без крышки, по боку трещина в четверть, от вмятины вниз. Я обмёл её ладонью и

провёл ногтем — трещина шла по всей толщине. Клеймо на дне было, но полустёртое, читалось только «...ЗМ».

— Под воду, — сказал Тимофей. — Если поставить трещиной вверх и не наливать выше вмятины, будет держать. Дождь пойдёт — соберём.

— Дождь был неделю назад.

— Он ещё пойдёт. — Он присел, взялся за край и качнул бак, и тот плотно сел на щебень. — Заклепать нечем. Заклёпок нет, и медь я на другое трачу.

Мы сидели у этого бака, и я считал. Нас пятеро, а крупы — сварить один раз, и всё, дно. Проволока — не еда. Гвозди — не еда. Медь — не еда. Считать было нечего, но я всё равно считал по второму разу. По разу в день на пятерых — один день. По полразу — тоже один, потому что полразу не бывает: Аглая отольёт ложкой и вернёт.

— Тимофей Игнатьевич.

— Ну.

— Скажи вслух.

Он помолчал и стал говорить медленно, по счёту.

— Три склада, подсобка, четыре пристройки. За два дня. Проволока, гвозди, стекло, бак с трещиной. — Он загнул палец, потом второй. — Тут либо до нас прошли — и прошли не спеша, гвозди-то в жестянку кто-то сложил, — либо другого тут и не держали. Расходники. Гвоздь, набивка, ветошь, известь. Игнат Петрович так и сказал: техника за путями. — Он посмотрел на трещину. — Я думал, участок хоть на месяц нас прокормит. А он не прокормит и на неделю. Карманы тут пустые, Юрий Аркадьевич, до нас вывернули. Я ошибся в счёте. Моя ошибка, не Игната Петровича.

— Он не богаче стал бы, если б ты не ошибся.

— Он бы и не стал, а счёт всё равно мой.

Бак мы понесли вдвоём, за края, и он бил меня по бедру поверх тряпицы, как бил мешок с крупой. У канавы Тимофей остановился и переложил хват, и я тоже переложил.

— Неделю не протянем, — сказал я.

— Не протянем.

Крупы Аглая сварила в тот вечер до конца, всё, что было, и котелок стоял на кирпиче под жестью, а мы сидели вокруг и не начинали.

— Говорю, — сказал я. — Участок пустой, и сидеть на нём и делить — это сидеть и считать дни, а их всего три, если не есть. Наружу надо.

Прохор сжал кулак на колене.

— Куда наружу.

— Вот про это и говорим.

Игнат приподнялся на локте и подтянул правую ногу руками. Говорил он сипом, но быстро.

— Есть место. Я на кордоне слышал, у переезда, там постовые в две смены и вторая смена скучает. — Он кашлянул. — Балка. Тихая Балка её зовут. Там вольные сидят, мешочники, сталкеры — как хочешь зови. Торгуют, а с кордоном нельзя, кордон их вешать будет. Между собой торгуют и с теми, кто из глубины ходит. Кто что вынес, то и несёт туда. Хабар, снаряжение, крупа, патроны. Патроны тоже.

— Митяй говорил — у переезда, — сказал я.

— Там другие, там перекупщики на нашей стороне стоят. А Балка дальше внутрь, в среднем поясе. Мне про неё Кузьма Рябой рассказывал, тот, что при поручике был писарем, — он потом ушёл, я не знаю куда, он и лошадь свою продал...

— Игнат Петрович.

— Ну да. Балка. — Он поймал себя и сел ровнее. — Дым оттуда виден. Я его сам видел два раза, когда шёл к вам: с гряды, от третьего пролёта. Столб, и всегда в один час, к вечеру. Значит, там варят каждый день. Костерок на ночь так не стоит. А варят там, где живут.

Тимофей поднял жесть с котелка, посмотрел внутрь и накрыл обратно.

— Далеко?

— День. — Игнат подумал. — День, если идти в обход. Прямо не пойдёшь: там гряда и нейтральная полоса, и по ней теперь ходят.

— День туда и день назад, — сказал Тимофей. — Это два дня, а еды у нас на один котелок.

— Еду с собой возьмём, — сказал я.

Прохор разжал кулак и стукнул костяшкой по доске стола.

— Возьмёте.

— Возьмём.

— Всю. — Ещё стук. — Всю крупу возьмёте, и барак останется пустой. Юрий Аркадьевич, вы вот сейчас сядете и уйдёте, и в бараке жрать будет нечего. Не мало, а вовсе ничего.

— Останется двое, — сказал я. — Ты и Аглая Никитична.

Он открыл рот и закрыл, и кулак у него сжался.

— Двое.

— Двое.

— Так это ещё хуже. — Он встал и тут же сел обратно. — Это вы уводите Тимофея Игнатьевича и Игната Петровича, а меня оставляете при бараке с фельдшером. Сивоок утром на гряде пошёл, и он сказал, что проверит. Он придёт проверять, а тут я с пикой и она с топором.

— Топор Тимофей Игнатьевич возьмёт, — сказала Аглая.

— Вот, — сказал Прохор. — Вот и топора нет.

— Я не спорю. Я говорю, чтобы знать.

Он посидел, сжимая и разжимая кулак, и потом сказал:

— И кто решил-то опять? Опять вы.

— Я при всех сказал, — ответил я. — Как в тот раз.

— В тот раз вы тоже говорили при всех, а потом сказали «моё слово». — Кулак у него сжался и остался сжатым. — Юрий Аркадьевич, я не про землю сейчас. Я про то, что вы уходите на два дня, а старший тут кто? По чину тут я. И барак без меня...

— Прохор Никитич.

— Что.

— Сколько прутьев у частокола не забито?

Он замолчал.

— Три, — сказал он потом. — Два я вчера дожал. Один у бетона.

— Камень нашёл?

— Нашёл. У бочек лежал, я его вечером принёс.

— Дожми этот и обойди весь ряд, — сказал я. — С той стороны, от канавы, там, где кирпич под землёй. Пока меня нет, это твоё, и я в это не полезу.

Прохор покосился на мою руку в тряпице, и кулак у него разжался.

— Ну, — сказал он. — Прутья я дожму.

— Кто идёт, — сказал Тимофей.

— Я, ты и Игнат Петрович.

— У меня нога не сгибается.

— У меня тоже. А он один знает, куда идти.

— Я не знаю, куда, — сказал Игнат. — Я знаю дым.

— Этого хватит.

Аглая всё это время держала руки перед собой, ладонями внутрь.

— У Игната Петровича швы ниже колена разошлись, и игла в ноге, — сказала она. — Он день не пройдёт.

— Пройду, — сказал Игнат.

— Не пройдёте.

— Аглая Никитична, я четыре дня шёл и один раз спал.

— Вы тогда были целый.

Сказала она это без нажима, и на этом спор кончился.

— Утром гляну ногу, — сказала она. — И обувь вашу гляну. У вас там тряпки, вы в них к вечеру сотрёте всё до косточки.

Котелок она стала разливать в три кружки и делила на пятерых, отливая ложкой сверху и глядя на уровень.

— Криво, — сказала она.

— Ровно льёте, — сказал Тимофей.

— Криво.

Утром она осмотрела всех троих.

Игната она усадила к свету у проёма и размотала ему ступни. Тряпки шли слоями и присохли, так что последний слой она мочила из фляги и отделяла долго. Взяла из сумки остаток ремня — тот, что свернула в тот вечер и убрала на второй раз, — и стала пластать его ножом вдоль, по волокну, а нож всё соскакивал.

— Ремень-то нужен, — сказал Игнат.

— Вы это уже говорили.

Она вырезала две полосы и пропустила их у него под подошвой, крест-накрест, поверх тряпок, и свела на подъёме.

— Это не обувь, — сказала она. — Это чтобы тряпка не сползла. Сползёт — станьте и перемотайте, не идите так.

— Не буду так идти.

— Будете. Все идут. — Она затянула узел и подсунула под него палец. — Не жмёт?

— Жмёт.

— Тогда хорошо.

Тимофей в это время сидел на пороге с топором на коленях и провёл большим пальцем по лезвию поперёк, у самой зазубрины, потом ниже зазубрины, потом ещё раз у зазубрины.

— Тупой?

— Не тупее, чем вчера. — Он опять провёл. — Точить нечем. Камня нет, а на кирпиче я его только сожру.

Крупку он ссыпал в тряпку сам. Со стены снял мешок, вытряс дно, отобрал зелёное пальцами и ссыпал остальное, и вышло всё же меньше, чем он мерил вечером.

— На один раз, — сказал он. — Я вчера думал, на полтора.

— Бери всё.

— Я и беру всё. — Он завязал тряпку двумя узлами и подёргал за концы. — Тут ничего не остаётся, Юрий Аркадьевич. Совсем ничего. Я это говорю, чтоб оно было сказано.

— Сказано.

— Ну и всё.

Аглая подошла ко мне последней. Руку она не стала разматывать, только подсунула палец под серую полосу с той стороны, где узел, и осторожно придержала.

— Мокнет?

— Мокнет.

— Не дожимайте.

Она вынула из-за пазухи лоскут — тот, что сушила на кирпиче второй день, — и положила мне его в левую ладонь, а сверху накрыла своими пальцами и подержала так, глядя в щебень у порога.

— Один, — сказала она. — Чистый. Если кого порвут — на кого-то одного. Не мойте им ничего и не вытирайте.

— Понял.

Она убрала руку.

Пока Тимофей затягивал мешок, я вышел к крану — подставить котелок и глянуть, всё так же ли капает. Капало точно так же. За стеной, в бараке, они всё говорили, и слов я почти не разбирал, только голос Аглаи, тихий, и потом Прохора. Прохор говорил длинно, и до меня дошло из середины: «...десятником я был по праву старшего в смене». Потом опять глухо, и опять он: «...младших по чину слушать не приучен. Чин теперь пустой, а привычка осталась». Аглая что-то спросила коротко, но я не разобрал ни слова. Я постоял с котелком и не пошёл туда.

Прохор к нам не подошёл. Когда мы полезли в щель, он стоял с той стороны частокола, у бетона, и бил камнем по третьему пруту — камень был плохой, и звук шёл мятый, без отдачи. Стоял он к нам спиной и не обернулся ни когда Тимофей задел плечом доску, ни когда Игнат сел на щебень и стал перематывать тряпку, которая сползла на первых же двадцати шагах.

Пошли мы широкой дугой: — на север вдоль канавы, потом развалинами, чтобы обойти и нейтральную полосу, и западную гряду, которая теперь была не наша. Игнат вёл и останавливался каждые полверсты, ждал, пока догоним, и шурился вперёд.

Оплавленный бетон лежал у нас на пути, в развалинах второго пролёта. Кусок плиты в полтора шага, и на нём наплыв — застывший, потёками вниз, с гладкой блестящей коркой, а по краю корка вспенилась пузырями с ноготь. Я присел рядом.

Так течёт заливка, если её перегреть, и на Реакторе я такое видел на изоляторе, который сел под дугой, и тот изолятор я держал в руках и разглядывал полдня. Рука пошла сама — левая, с раскрытой ладонью, к самому краю, толщину корки на глаз не возмёшь.

И встала на полпальца от бетона, и я убрал её и сел на пятку.

— Что? — сказал Тимофей.

— Ничего.

Пальцы у меня после этого мелко тряслись, все до одного, и большой отдельно, и я сунул руку под мышку, подержал. Ничего не было. Я к нему не прикоснулся.

— Не трогай, — сказал Игнат сверху, не оборачиваясь. — Тут всё горячее было.

— Оно холодное.

— Оно всё холодное.

Мох мы увидели через час, в низине, где стояла вода. Пятно было шагов в пять и светилось днём слабо, как накал, когда его сажают до рыжего: видно, что горит, а свету от него нет. По краю пятна трава была жёлтая кольцом, и в кольце не было ничего.

Игнат обвёл его широко, шагов в двадцать, и мы обвели за ним.

К третьему пролёту он поднялся на кирпичную тумбу и стал смотреть вперёд, вытянув руку. Ладонь он держал ребром, прикидывая, и шурился так, что глаз почти не было.

— Вот, — сказал он. — Ниже гряды. Видите?

Столб дыма стоял далеко, тонкий, и внизу шёл ровно, а вверху разъезжался.

— В две ладони от гребня, — сказал Игнат. — Значит, за грядой. И не за первой, а за второй.

— Это ты как считаешь?

— Ладонью и считаю. Оно врёт, да врёт одинаково.

Дальше я шёл и думал про торг.

Меня взяло сразу — так же, как когда-то, когда отец первый раз посадил меня на своей стороне стола, и по ту сторону сидел человек от Дома Стремянных, и я весь тот час не мог сидеть спокойно. Я шёл и раскладывал: проволока — четыре мотка, ржавая, но гнётся. Гвозди гнутые, да и гнутые пойдут, если у них своих нет. Медь два вершка. Бак с трещиной не потащишь. Ампулы — три, стекло целое, носики отбиты, и стекло без надписей может стоять, если в него что-то наливать. Второй месяц я только отбивался да считал чужие стволы, а теперь шёл разговаривать.

Про воду на щелбне я и не подумал.

Ногу я поставил, не поняв куда, и в это время меня рвануло за плечо назад, за робу, и правую руку дёрнуло от локтя до лопатки, так что в глазах пошло белое.

Босая ступня стояла на палец от края жёлтого кольца, а мох за кольцом светился ровно.

— Ты куда? — сказал Игнат. Он держал меня за плечо и не отпускал. — Ты куда пошёл-то?

— Мимо шёл.

— Ты не мимо шёл, ты в него шёл. Я на тебя смотрю с той тумбы и вижу, что ты идёшь и головой киваешь.

— Отпусти.

Он отпустил.

Я отступил на два шага и стоял, и мышцы под коленом тянуло. Пятно было второе, меньше первого, и я его не видел вовсе — ни его, ни кольца.

— Спасибо, — сказал я.

— Не за что. — Игнат поддёрнул ремень на подъёме. — Мне вас двоих не дотащить, я и одного не дотащу.

Тимофей подошёл и посмотрел на мох, потом на мою ступню, потом опять на мох.

— Обойдём шире, — сказал он. — И идите оба впереди меня. Я сзади вижу лучше.

К гребню гряды мы поднялись, когда солнце село за отвал и всё пошло серым. Подъём был не крутой, но сыпучий, и Игнат последние двадцать шагов лез, помогая себе руками, и на середине сел и посидел. Тимофей поднимался боком, разворачиваясь на левой пятке, как он всегда ходит.

С гребня открылся распадок.

Внизу стоял частокол — плахи вкопаны стоймя, тесно, по низу обмазаны, и шёл он дугой по склону. За ним крыши под дёрном, низкие, и я насчитал восемь, а потом девять — одна стояла за другой. Над крышами стояли дымы. Я досчитал до десяти, а Игнат сказал «одинадцать», и я не спорил.

— Дошли, — сказал Игнат.

Тимофей поставил лом стоймя и опёрся на него.

— Плахи в четверть, — сказал он. — Вкопаны, не забиты. Их тут ставили с телегой и не в один день.

Тропа спускалась к тому месту, где частокол разрывался, и ныряла в кусты.

Из кустов, шагах в сорока ниже нас, вышел человек с фонарём в опущенной руке. Невысокий, фонаря он выше колена не поднимал, смотрел вверх, на нас, и не двигался.

Игнат всмотрелся, присел на корточки и сказал мне в спину, тихо:

— Юрий Аркадьевич. Сюда чужих так близко не подпускают. Никогда.

— Значит?

— Значит, нас увидели давно.

Глава 7. Свет за частоколом

Фонарь он поднял, когда до частокола оставалось шагов двадцать, и поднял сразу на уровень моих глаз. Свет ударил так, что всё остальное пропало — и частокол, и думы, и он сам.

— Стоять. Кто такие, откуда идёте, что несёте.

Голос был молодой и ломался, а слова он выговаривал ровно, одно за другим, как их говорят в сотый раз.

Я шурился в сторону от фонаря, чтобы видеть хоть землю под ногами. За его спиной, за частоколом, стоял другой свет — низкий, не то от костра, не то из окна, и его я тоже не видел толком.

— Воронцов Юрий Аркадьевич. Со мной Гвоздарёв Тимофей Игнатьевич и Пыльников Игнат Петрович...

Голос пошёл не тот. Так я сдавал смену на Реакторе: фамилия, участок, что принял под роспись. А передо мной стоял парень с ружьём, и от него зависело, пустят нас за колья или нет.

— Идём от обслуживающего корпуса, он за грядой, — начал я заново и тише. — Не грабить. Меняться.

— Меняться, — сказал он.

— Меняться.

— Все меняться идут. — Фонарь он опустил чуть-чуть и стал обходить нас справа, приглядываясь. Двустволка висела у него на плече стволами вниз, и снимать её он не стал. — Руки покажи. Оба покажите. И ты, хромой.

Руки подняли все, и Игнат тоже, не сгибая правой ноги.

— Пустые.

— Вижу, что пустые. Мешки где?

— Тряпка с крупой, — сказал Тимофей. — Проволока, гвозди. Медь два вершка.

— Медь, — сказал парень, и на этом слове голос у него дёрнулся. Он обошёл нас с другой стороны, тряхнул фонарём — тот коптил, а стекло было треснуто наискось, от самой кромки, — и опять поднял его мне в лицо. — Оружие есть?

— Топор, — сказал Тимофей. — Нож. И лом.

— Топор и нож сдать до утра. Лом можешь нести, лом железо.

— Лом я и не отдам вам.

— Я и говорю: неси. — Он полез за пазуху и вынул горсть деревянных плашек на верёвочке, и они у него застучали одна о другую. — У нас так с чужими заведено. Сдал — бирку взял. Утром бирку вернул, железо своё получил. Пропадёт — с Марфы спрашивай, не с меня, я только пишу.

Внизу, за частоколом, кто-то в это время протяжно и зло звал: «Аниська! Аниська, зараза, ведро!» — и стучали по железу, редко, без всякого счёта. До нас там никому дела не было.

— Мочалов, — сказал парень. — Ерофей. Это чтоб потом не говорили, что бирку у неизвестного взяли.

Имя я уже слышал — две ночи назад, через колья, — и сапог его помнил: голенище было перехвачено бечёвкой.

— Мочалов, — сказал я. — А у Сивоока Данилы Гаврилыча ты не ходил?

Он подержал фонарь у моего лица и опять опустил.

— Мочаловых тут четверо, — сказал он. — Топор давай.

Тимофей вынул топор из-за пояса и подал обухом вперёд. Ерофей взял его левой, взвесь, тронул большим пальцем зазубрину и переложил под локоть. Плашку он мне не дал — дал Тимофею, потому что железо было его.

— Теперь нож.

Игнат не двинулся.

Нож был не его. Тимофей отдал его в то утро, когда Игнат уходил к мареву, — рукоятью вперёд, и сказал «вернёшь», а Игнат сказал, что вернёт, если будет с чем возвращаться. С этим ножом он ходил четыре дня и в бараке из-за пояса его не вынимал, спал так.

— Долго стоишь, — сказал Ерофей.

— Он чужой, — сказал Игнат сипло. — Не мой.

— Мне всё равно, чей. Мне его в бирку писать, и всё.

— А если у вас там пропадёт?

— Я сказал, с кого спрашивать.

Игнат посмотрел на Тимофея. Тимофей ничего не сказал, только тронул его за плечо, коротко, и убрал руку.

Тогда Игнат вынул нож и положил его на раскрытую ладонь Ерофея, и не сразу отнял пальцы от рукояти. Ерофей сунул ему плашку. Игнат повернул её к фонарю и стал искать номер, и нашёл, и обвёл ногтем прорезь.

— Семнадцать, — сказал он.

— Двенадцать. Ты вверх ногами смотришь.

Ерофей посветил на воду в ложбине, ткнул стволами вниз по тропе и пошёл первым, забирая так, чтобы всё время держать нас слева.

— Не отставать. Идёте в Тихую Балку, по гостям тут не ходят.

Под плаху пришлось поднырнуть: слева плахи стояли стоймя, а справа одна лежала поперёк на высоте груди, и её никто не убирал. Тимофей пролез боком, переставляя здоровую ногу, и всё равно задел плечом. Игнат просто нагнулся вбок всем телом, потому что нога у него не гнулась, и на выходе постоял, держась за плаху.

Низина открылась сразу, без спуска. Крыши были дерновые, низкие, и трава на них стояла зелёная там, где под ней шёл дым. Я стал считать и досчитал до восьми, потом сбился на той крыше, что стояла за другой, и начал заново. Вышло десять. С гребня я тоже видел десять, а Игнат с гряды насчитал одиннадцать. Пусть будет одиннадцать. Между крышами шли плетни огородов — кривые, из чего попало: где лоза, где рейка, где две проволоки в три оборота. За одним плетнём росла картошка, и половину грядки уже выкопали, а половину нет.

Лавки стояли в ряд по правой стороне, под навесами. Навесы были из брезента и из жести внахлест, и брезент на одном был казённый, с той же кромкой, что и тот, который у нас в цеху шёл на укрывку станков.

Смотреть я старался вдоль, краем глаза, но всё равно вышло плохо.

У костра сидели двое стариков и один говорил другому что-то долгое. Он оборвал себя на середине слова, когда мы прошли, и договаривать не стал, и оба смотрели нам вслед, не отворачиваясь, пока мы не миновали костёр. Женщина с ведром остановилась, поставила ведро в грязь и стояла над ним. Ведро было полное, и она не подняла его, пока мы не отошли шагов на двадцать.

— Не глазей, — сказал мне Тимофей, не поворачивая головы.

— Я не глазею.

— Ты идёшь и головой водишь.

Босая ступня у меня уже набрала грязи, и заноза под большим пальцем сидела третьи сутки, а на мокром стала колоть сильнее.

У третьей лавки на ящике сидел одноногий. Штанина была подвязана под коленом бечёвкой, костыль лежал у него на земле, и он латал сеть, набрасывая петлю на палец, и на руки не смотрел.

— Со стороны Реактора теперь не только твари ходят, — сказал он в сеть, ни к кому. — И людишки завелись.

Никто ему не ответил. Из-под навеса кто-то сказал:

- Ты петлю пропустил. Третью снизу.
- Не пропустил.
- Пропустил. Опять к рассвету пороть будешь.
- К рассвету и пороть.

Ерофей на это не обернулся, только прибавил шаг, и фонарь у него в опущенной руке качнулся вперёд.

- Не стоять, — сказал он. — Идём.

Дальше навес был больше остальных, на четырёх столбах, и с прогона свисали шкуры — четыре или пять, мехом внутрь, — а под ними в два ряда стояли мешки, и один был развязан, и в нём была соль. Двое стояли у мешков и говорили, и один из них держал горсть соли, пересыпая её из ладони в ладонь.

— В средний пояс он теперь не пустит, — говорил тот, что с солью. — Своих без спроса не пускает. А ты ему кто?

- Я туда и не пойду.
- Все не пойдут. А Лука-то Осетров...
- Ты соль сыпь. Нечего её трясти. Она у тебя вся между пальцами уйдёт.
- Соль твоя.
- Вот я и говорю: моя.

Второй забрал у него горсть, ссыпал обратно в мешок и потянул завязку, а про Осетрова больше никто не сказал ни слова.

Шагах в двух позади меня тянул ногу Игнат, и он поймал мой взгляд, кивнул и опять стал смотреть себе под ноги.

Я хотел спросить у Ерофея, кто такой Лука Осетров, но пока собирался, мимо прошла женщина с ведром, задела меня по колену, и вода плеснула через край мне на бедро, поверх тряпицы. Она даже не оглянулась.

Крайняя постройка стояла особняком, за последним навесом, и к ней от торга шла вытоптанная плешь шагов на десять, без лавок и без мешков. Дом был дощатый, обшит в два слоя внахлест. Дверь была другая: плахи в четверть, на трёх железных полосах, и полосы эти держались на заклёпках. Над дверью висела жёсть, и по жести было выбито изнутри наружу, в три слова: «Обмен. Хабар. Харч».

Ерофей поставил фонарь на приступок и постучал: два, пауза, три подряд, ещё один.

За дверью помолчали, потом отошла задвижка.

Женщина стояла в проёме, не выходя на свет. Платок она повязала низко, под самые брови. Сама полная, крепкая, и руки такие, каких у нас в бараке ни у кого не было — широкие, в мозолях по всей ладони. На подбородке шрам, старый, дугой.

На вид я дал ей сорок пять, а потом подумал, что мог ошибиться лет на десять в любую сторону: лицо было обветренное, такое, по которому годы не считают.

Она поглядела на Ерофея, потом повела глазами по нам троим сверху вниз: на лом у Тимофея, на его ногу, которая не сгибалась, на тряпки Игната с ремнём крест-накрест, на мою серую полосу, на мою босую ступню. Потом оглядела нас по лицам, по очереди, и всё молчала.

— Марфа Петровна, — сказал Ерофей. — Данила Гаврилыч не при них. Они сами.

— Я вижу, что сами. — Она отступила в сторону. — Заходите. Дверь придержите, она у меня на верхней петле ходит, я третью неделю прошу...

Договаривать не стала и пошла внутрь.

Внутри пахло варёным — жиром и луком. У меня свело под челюстью, и я стоял и глотал, а Игнат за спиной шумно потянул носом раза два.

Прилавок был из плиты на кирпичках, и на нём лежал безмен, а рядом стояла жестяная кружка с чем-то мелким. За прилавком, в глубине, висела рогожа, и за ней кто-то передвигал тяжёлое по полу — подвинет и остановится.

— Гаврила! — крикнула она, не оборачиваясь. — Второй ряд не двигай, я сама. За рогожей стихло.

— Говори, — сказала она мне. Рука у неё была в кармане, и по нему видно было, как она там перебирает что-то мелкое, одно за другим.

Я оправил воротник и опустил руку.

— Нас пятеро, — сказал я. — У корпуса, за второй грядой. Еды нет вовсе, совсем ничего. Взамен предлагаю поставки: что найдём в развалинах и на участке, то понесу к вам первым.

— Найдёте. — Она вынула руку из кармана и вытерла её о фартук. — Мне вашего «найдем» на полку не поставишь.

— Другого у меня сейчас нет.

— Это я тоже вижу.

Она обошла прилавок, потрогала безмен и отодвинула его в сторону, чтоб не мешал.

— Даю на шесть дней. На пятерых, — сказала она. — Крупа, сало, соль, сухари. Сегодня, в долг. Долг тридцать пять рублей. Через десять дней рассчитаешься хабаром, по моей оценке.

— Тридцать пять, — сказал я.

— Тридцать пять.

Сбоку от меня переступил Игнат, опираясь на здоровую ногу.

— Хозяйка, — сказал он сипло и тихо, вполоборота ко мне. — А это в переводе-то сколько? Ну, на обычное, если проволокой, гвоздями. Сколько за пуд?

— Смотря чья проволока.

— Наша.

— Вот и посмотрим, когда принесёшь. — Она даже головы к нему не повернула. — Тут цена справедливая, по месту. Я хабар ваш в глаза не видала, а он у меня цену спрашивает. Сначала положи на прилавок. Ты у переезда ходил, Пыльнов?

— Ходил.

— Осетрова там не видал?

— Не видал.

— Ну и не видал. — Она подняла с прилавка кружку, глянула в неё и поставила обратно. — Шесть дней и десять дней. Считай сам, я не тороплю.

Цену я принялся прикидывать, да так и не додумал: считать было нечем, я не знал ни что тут стоит рубль, ни сколько дают за пуд проволоки. Я знал только, что в бараке двое и у них нет ничего, а мы трое стоим тут с полудня и с утра ничего не ели. Тимофей позади меня перехватил лом ниже и налёг на него всем весом.

— Согласен, — сказал я.

— Ерофей, мешок сними, — сказала она. — Тот, с угла. Не этот. С угла.

Мешок он снял не тот, и она сказала ему это второй раз, и тогда он полез на верхнюю полку и достал тот, что с угла.

В сарай Ерофей повёл нас сам, потому что больше было некому: у ворот стоял парень, которому он крикнул через двор «я сейчас», и парень ответил, что ждёт уже второй час и что у него ещё лошадь не поена.

— Гости у нас тут, — сказал Ерофей и поднял фонарь мне к лицу. Я отвернул голову. — Ты не серчай, я в лицо смотрю, когда веду.

— Смотри.

— Вот и смотрю. — Он опустил фонарь и пошёл вперёд. — Дальний он, за баней. Крыша железом крыта, дождь стучит — не уснёшь. Нынче дождя не будет.

Сарай был длинный, с земляным полом, и солому по этому полу натоптали до пыли. Пахло сеном и дымом, и дым шёл с той стороны, где варили еду.

— Ножи ваши под бирками, — сказал Ерофей уже в дверях. — Три бирки, номера двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Утром спросишь у меня, не у него.

— У кого «у него»?

— У кого дам, у того и спросишь, — сказал он и ушёл.

Тимофей опустил у стены и вытянул ногу, которая не сгибалась. Лом он положил рядом, вдоль себя. Пальцы правой руки — те, что обжёг, когда подхватил у их костра горячую жестянку, — он тёр долго, по одному, и молчал, и я уже думал, что он так и заснёт.

— Больно лёгкая сделка, — сказал он. — Для первого раза.

— Лёгкая, — согласился я.

— Она нас в глаза не видела, и хабар в глаза не видела. — Он подул на пальцы. — Я бы такому и гвоздя в долг не дал.

За стеной, у бани, две женщины спорили про козу: одна говорила, что коза была привязана, а вторая — что привязана была плохо и что она это ещё в тот раз говорила. Спорили они не горячась, вполголоса, и, видно, не первый вечер.

Игнат лёг на бок и переложил правую ногу, осторожно взяв её под колено.

— Я слушал, пока вы там стояли, — сказал он сипло. — Осетров этот. Лука Осетров. Она у меня про него спросила, а мне и сказать нечего, я его не знаю. А потом двое у прилавка говорили: у Осетрова средний пояс весь под рукой, и кто в средний пояс идёт, тот идёт с его слова. И крыши у него, и люди. — Он повернулся. — Юрий Аркадьевич, а Аглая Никитична с Прохором Никитичем там сидят.

— Сидят.

— Ножа у них нет: топор у нас, нож у нас, а у неё огарок да сумка. — Он помолчал. — И Сивоок на гряде ушёл.

— Прохор с пикой.

— Прохор с пикой и с кулаком своим. — Игнат подтянул тряпку на ступне. — Я не спорю, я вслух говорю, чтоб не одному это держать.

Тимофей сказал то же утром, у гряды, и я промолчал.

Я сидел и первый раз с рассвета пустил в себя то, что гнал весь день: сутки. Сутки они там одни. Прут у бетона Прохор дожал или не дожал, это ладно. А щель боковая — та, где плечом задеваешь доску, — стоит как стояла. Она выйдет к крану, потому что воду дают по одному и не ночью, и пойдёт с котелком сама, а руки у неё трясутся уже третьи сутки. Я стал считать, сколько шагов от щели до крана, и не вспомнил. Вспомнилось другое: как она положила мне лоскут в ладонь и накрыла сверху пальцами. Один чистый лоскут, и она отдала его мне.

Женщины за стеной кончили про козу и стали про мужа одной из них.

Игнат уже не шевелился, а Тимофей завалился набок, к лому, и дышал ровно. Соломинка лезла мне под воротник, и я её вынул и держал в пальцах левой руки.

И тогда в груди открылось знакомое — жаром и холодом сразу, как заслонку отвели, — и без всякого голоса, но словами:

«Плата вперёд дороже той, о которой сговорились».

Я сел прямо.

— Что это значит?!

Внутри было пусто. Я подождал, посчитал до двадцати, потом ещё раз до двадцати — и всё равно ничего не пришло. Игнат во сне повернулся к стене.

Через щель в стене было видно двор и дальше — окно фабрики. В окне горел свет, хотя двор давно спал, и по свету ходила тень, туда и назад, и там говорили сами с собой, ровно, будто считали. Самих слов до меня не доходило.

Ерофей прошёл по двору с фонарём к воротам, и когда он поднял его, чтоб окликнуть парня, свет лёг на дощатую створку, где висела вывеска: «Обмен. Хабар. Харч». Ниже вывески, по дереву, был выжжен знак — кривая метка в две черты, с крючком книзу.

Я такую метку уже видел — на панели с печатью Департамента, в развалинах барака.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.